

## ТОНКИЙ СЛОЙ

Сцены дружеских встреч и бесед

Роман (окончание)

### ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ПОМИНКИ И ФОРСМАЖОР В КОНЦЕ

Они возвращаются с кладбища через весь город, пытаются объехать пробки – начинается час пик. «Ага, и у вас пробки», – почему-то злорадно и довольно громко замечает веселый толстяк, сидящий у окна, своему соседу, другому толстяку, мрачному, с отвисшей губой. На веселого толстяка начинают оглядываться: понятно, что он не здешний, москвич, – похоже, важная птица. Автобус часто и резко останавливается, стоит, неприятно вибрирует, постепенно наполняется ровным гулом голосов – ругают организаторов: зачем панихиду устроили в Малом зале – все толпились на лестнице, стояли со своими цветами-венками, опустив головы и потя, жарко, речей не слышно, кто говорит, что говорит – ничего не разобрать, дирекция, конечно, вся у гроба – прощаются, на людей, как всегда, наплевать; те, кто протиснулся в церковь, хвалили батюшку: такой приятный, ужасались: бронзовые бюсты, оказывается, с кладбища почти все исчезли – вот и не надо бронзовые, не надо искушать, сейчас появились скульпторы, очень известные, между прочим, и камнерезы... так ведь и каменные тоже разбивают... вандалы обкуренные, ну что вы говорите, это только на еврейском кладбище, да и то давно, сами подумайте, ну зачем на наше кладбище пойдут эти вандалы, тем более ученые там с мировыми именами, вы считаете, для вандалов это имеет значение, что мировые имена, бронзовые бюсты как раз ученым с мировыми именами ставили, ну что вы сравниваете, не надо искушать, говорю, да вот, действительно, этой девушке, которая долбанула насильника, следовательно сказал: зачем вы его искушали, не надо было искушать, юбка, там, короткая, колени, ресничками хлопать... Жизнь продолжается, земные дела снова овладевают мыслями и разговорами.

– Нет, не так всё плохо в России, как кричат эти, ну как их? – говорит один из толстяков. Толстяки сидят через проход, животы их в расстёгнутых пиджаках выпирают из кресел, как подошедшее тесто, короткие руки отдыхают на подлокотниках, они удивительно похожи друг на друга и вместе с тем разные: один желчный и недовольный, и его Александра помнит – он был когда-то начальником технологического отдела, сейчас уже, наверное, не начальник, да и отдела такого, по всей видимости, уже и нет. Другой помоложе и не такой мрачный, лицо такое... самоуверенное, ироничное, оживленное, смотрит в окно с любопытством, да, точно – этот молодежавый... он из Москвы (публика обсудила и вынесла заключение), из тех министерских, которые специально приехали на похороны, вот потому лицо у него особое, столичное, простому народу он пока незнаком.

Когда автобус останавливается, все слышат, как раздраженно толстяки насккивают друг на друга.

– Да? – весело переспрашивает незнакомый московский толстяк – он даже голову не поворачивает от окна, в голосе явная насмешка, – не так плохо? А как? Как именно? Неужели еще хуже? Неужели даже хуже, чем кричат... эти?

– Не прикидывайтесь... Вам совершенно не идёт. Я много за последнее время поездил, да, не только по столицам. Всюду улучшения. Всюду. Люди строятся. Отличные дома. Дороги делают. Машины покупают, отличные.

– Да уж... накупили машин. То-то дышать нечем, проехать по городу даже у вас невозможно. Вот в Москве я давеча вообще четыре часа в пробке стоял. В совещании участвовал по мобильному... уже все привыкли... не первый раз.

– Так я и говорю. Москва и Питер перегружены. А провинция как поднимается!

– Ну, провинцию я, положим, тоже знаю. У меня родня живёт в Перми в жутких условиях. Вот именно, что дом со всеми неудобствами. Страшная коммуналка, первый этаж, без ванны, сосед безумный алкоголик, угрожает, никаких надежд вырваться в отдельную квартиру. А люди образованные, интеллигентные, немолодые, конечно.

– Ну, шевелиться надо. Ипотеки сейчас появились. Дети должны помогать. Или вот вы бы и помогли. Что же всё на государство перекаладывать.

– Какие ипотеки, о чём вы говорите? А детей у них нет. Я стараюсь помочь – ничего не получается. Купить им на свои деньги я все-таки не могу, у самого проблемы. Бесплатное жилье непонятно, как там распределяют, даже я не могу в Москве найти, за какие ниточки подёргать.

Ну, не знаю. Всякие единичные случаи всегда можно выкопать. Вы нарочно не хотите видеть, куда вектор повернулся.

Да нет. Я вижу. Я в принципе с вами совершенно согласен. Конечно, вектор повернулся. Ну, не всё сразу. Наладится, наладится. Да!

Что-то знакомое появилось в голосе москвича, какая-то опаска в интонации, как будто он спохватился, быстренько подкрутил в себе свою стрелочку, установил параллельно главному вектору: пошутили – и хватит, поиронизировали – и довольно.

Толстяки ненадолго замолкают, и тогда становятся слышны женские голоса.

– Очень правильно было, что раньше гнали этих нищих: они совершенно наглые и противные, а вот еще появились эти ужасные старухи, мерзкими голосами поют старинные песни или романсы, им даже деньги дают – видимо, чтобы заткнулись.

Это говорит раздраженный дамский голос за спиной.

Александра быстро, как бы незаинтересованно оглядывается: нет, дама тоже незнакомая – и вспоминает, как вчера в переходе на Невском, действительно, пела старушка тоненьким детским голосом, и пока Александра спускалась по эскалатору, долго еще слышно было её бедное напоминание: «...не забудь потемне-э-э-е накидку...».

– Почему все так раздражены? – спрашивает Александра сидящую рядом Марысю.

– Не знаю. Мода такая.

– Вчера ты говорила, что у вас мода на ненависть. Мода на хамство. Как будто это такое оправдание, мол, мода – это так, преходящее, не обращайтесь внимания, скоро пройдёт, всё это временное, несерьёзное – пройдёт.

– Ну да, так, – устало соглашается Марыся.

– Нет, раздражение это не мода. Это искренняя эмоция.

– Да, наверное, так и есть...

Видно, что Марыся очень устала, занята своими мыслями, не очень вдумывается и потому равнодушно соглашается. Александра понимает, отстаёт от неё, роется в своей сумочке и достаёт записную книжку.

Марыся откидывает спинку кресла, закрывает глаза, пытается отключиться хотя бы ненадолго – впереди еще поминки в институтской столовой, тоже устроенные

её хлопотами, бессмысленным и тщетным напряжением. Не получилось устроить поминки в ресторане Дома ученых, только на институтскую столовую – запущенную, неремонтируемую с советских времён – удалось наскрести, на более приличное место не хватило. Она пытается прогнать стыдные воспоминания о повальном жмотстве (чтобы не сказать другое слово), при котором даже срочную смену занавесок в столовой удалось решить лишь с помощью скандала, угроз и шантажа. Жалкий результат: новые занавески, нелепые и яркие, прикрывающие старые ободранные рамы. Покровский совсем не вникал в хозяйственные дела, морщился и махал руками, избегал подписывать финансовые бумаги – хотел остаться чистюлей. Хорошо быть чистюлей, никто не спорит, да кто же может теперь позволить себе такую роскошь – она не может себе позволить. Вчера Блин злорадно крикнул: «Вы, Мария Васильевна, не забывайте, на какие деньги я отправлял вашу команду в Беркли, да еще ребятам в конвертах роздал». Это на её вопрос, куда подевались денюжки на реконструкцию здания, на переоборудование всех служб, и столовой в том числе, что-то ведь должно было остаться. «Одни слёзы, вот что осталось», – с фальшивой грустью ответил Блин, а про аренду вообще пропустил мимо ушей. Отслюнил немного этих слёз на панихиду, на цветы, на венки, на поминки – и вот на занавески, а стены в столовой девочки мыли уже бесплатно. И окна тоже. А что можно было ему возразить – опять про дачу на озере напомнить, с двумя гектарами вокруг, – напоминали уже даже и в газетах, – ну и как бы он на неё посмотрел, представила его улыбку, тихую, наглую, неуязвимую – комиссия признала: да, купил, да, законно, помещение бросовое было, непригодное для дальнейшей эксплуатации, вложил собственные большие средства, все законно, комитет по каким-то там имуществам все подтвердил: да, раньше была дача детского сада, да, еще институтский дом отдыха, но всё пришло в негодность... Всё расхватили. Хорошая компания подобралась, свои ребята-администраторы. Восстановили за... все знают, за какие большие средства... Все знают, а доказать – никто не докажет, да и опасно это, реальные пацаны уберут в тот же миг; за большие государственные средства, говорите? (так государство – это мы и есть), а покупку оформили задним числом, когда действительно там было полное запустение и развал. Успокойтесь, никто доказывать не собирается, отойдем в сторонку, в сторонку от государства, у нас домик в Ушково есть, и хватит, старенький домик, ну ничего, подремонтируем, подкрасим, угол завалившийся домкратом поднимем, будем молиться, чтоб не сожгли, отличное такое место, совсем не престижное, никто глаз не положил – можно сказать, просто повезло...

Александра листает свою записную книжицу: решила вести дневник в родном городе, собирает удивительные объявления. Записывает, пока не забылось, только что увиденное на воротах кладбища: «Проезд через кладбище без покойника строго воспрещен!» Вчера Лия подарила чудный такой листок, сорвала со стены подворотни неподалёку от Мариинки: «Терпите!!! Туалет на Театральной площ. и в Ник. Саду». При этом Лия добавила, что можно было бы типографским способом изготовить листовки с этим самым «Терпите!!!» и развесить повсюду или в почтовые ящики побросать. Как рекламу. Такая акция. «Терпите, ребята, и вам зачтётся». Или объявления в газетах... Про снятие порчи, разнообразные гадания, эзотерические прогнозы, «наследственная колдунья с редким даром изменить вашу судьбу», «генетическая предсказательница решит ваши проблемы»... Никого не удивляют уже эти объявления. Мимо, мимо. А вот такое вдруг остановило, даже вырезала и приклеила скотчем: «Ветеран на вечер. Убелённый сединами заслуженный ветеран (7 орд., 25 мед., не фуфло) скрасит досуг обеспеченных господ. Рассказы про огневую молодость, фронтовой солдатский юмор, рецепт легендарной каши, массаж-комплекс «Земляночка». Т 209-52-62 Виталий».

Что это? что за судьба за этим объявлением? отозвался ли кто-нибудь из «обеспеченных господ»?

Странный жест замечает за собой Александра: она прикрывает свою книжечку и свои вырезки от посторонних взглядов. И вспоминает... Когда-то рано утром, очень рано, до работы, она отправлялась с бидончиком за молоком. Прекрасное, дешевое молоко, дешевле, чем в магазине, привозили к ним в микрорайон прямо с молокозавода. Серебристая бочка приезжала в любую погоду, и крепкая толстая баба в белом грязном фартуке разливала им по бидончикам молоко. Длинная очередь выстраивалась. И как-то раз два молодых человека, два молодых господина (тогда слово это употребляли только в классической литературе), очень хорошо, практически по-иностранному одетые, а вернее всего, и были они иностранцами, навели объективы на эту очередь. Но тут выскочила из очереди безумная тетка, размахивая еще пустым бидончиком, с призывом засветить немедленно этим шпиёнам их капиталистическую плёнку, чтоб не привезли они на Запад свои снимки про советскую очередь – еще неизвестно, как их гнусная пропаганда истолкует. Многие её поддержали, но с места не двинулись – очередь потерять никто не рисковал. Так что господа в западном прикиде ноги благополучно унесли.

А не далее как вчера... Милиционер на марше несогласных разбил камеру корреспонденту: «Всё, что ты здесь наснимал, не соответствует действительности». – «Предстанете перед судом». – «Беги-беги, подавай на меня в суд». Было вчера в «Новостях». Александра смотрит «Новости» жадно и не отрываясь. Даже рекламу. Просто слушает родной язык – в Германии у Александры нет русского телевидения.

К толстякам оборачивается сидящая впереди экономистка из отдела комплектации, постарела, усохла, но сохранила комсомольскую энергию и порыв, когда-то была в этом... как же это называлось, профбюро, что ли, путёвки распределяла, многие от неё зависели. Александру, кстати, подчёркнуто не замечает.

– Правильно, правильно, Валентин Петрович, в России всё замечательно. Всё мало-помалу налаживается, горлопанов загоняют под лавку, а куда их еще? плеткой, плеткой – и под лавку, несогласные они, видите ли, с чем они несогласные-то, объяснить не могут и сами не понимают, бузят просто, которые молодые – сил много, девать некуда, а старичье – от нехрен делать. Вот что еще хорошо – ворье сажает периодически, до всех доберутся – дайте только срок, экономика поднимается, народ доволен: чего ж еще. Спасибо Путину и «Единой России».

Толстяки одинаково поднимают брови. Вмешательство в их разговор им не нравится. Однако Валентин Петрович, человек вежливый, выдавливает из себя какие-то поощрительные звуки, но заметно, что с большим трудом, министерский толстяк совсем принакает к окну, демонстративно высматривает там что-то.

Экономистка не унимается, уже встала коленями на сиденье, обернула к ним скукоженное личико, положила подбородок на край высокой спинки:

– Я так скажу: надоели плакальщики. Центр какой прекрасный! Видели? Правда – чудо? Все дворцы восстановили. Счас проезжать будем. А и на окраинах заботятся. Вот я в Веселом поселке живу, так переложили весь асфальт, два огромных супермаркета выстроили, рядом новые детские площадки, новый стадион, зимой каток заливали, детишки такие радостные, так все хорошо одеты, вы только посмотрите, в каких шубах наши девушки ходят – сплошная норка, а вот магазины эти, двадцать четыре часа, мне лично очень нравятся: чего нет – выскочил, купил хоть среди ночи, а в Германии знаете, какое неудобство (повысила голос, глянула в сторону Александры, быстренько так, искоса): после восьми хоть шаром покати – ничего не купишь, а у нас там и «Мультипицца» рядом, автоцентр «Тойота» – там круглые сутки кафе, жилые дома совсем западные, под черепицей, так много и повсеместно строят, у меня ночи не хватило бы всё вам рассказать... (Шахеризада, блин, неужели кто-то уже ей ночь предлагал, что-то я прослушала.)

Начало поминок. Первые минуты неловкости и молчания. Если и говорят, то говорят шепотом; опустив головы или глядя куда-то в сторону, рассаживаются, осторожно двигают стулья, откашливаются, прочищают горло, вздыхают, вынимают платки, промокают время от времени глаза и лысины, предельно вежливы друг с другом, скрывают усталость и голод. Лишь деловито бегают организаторы, но тоже перешептываются тихо и серьёзно, продуманно распределяют поминающих согласно иерархическим их позициям. За главным столом помещаются жены, дети, внуки, близкие родственники, министерские люди, крупные начальники. Кто-то уже поставил тарелку и рюмку в самый центр главного стола, на рюмке лежит ломтик черного хлеба. За столом, длинным-предлинным – перпендикулярным, примыкающим к этому главному, – усаживаются сначала начальники чуть помельче; потом любимые ученики покойного, добившиеся успехов; экономические советники, приблизившиеся к покойному в последние годы; совсем старые, когда-то очень влиятельные настоящие ученые, а теперь обыкновенные немощные старики, так называемые консультанты... Это чистый жест уважения со стороны распорядителей, похвально; рядом с ними сидят какие-то молодые, неизвестные, но слухи витают – нужные, якобы представители денежной технологической «нефтянки», эти молодые, с бегающими неробкими глазами, раньше всех потирают руки, разглядывая закуски, нацеливаются.

В самом конце всех столов уже без разбору и без всякого присмотра организаторов рассаживаются простые, невеликие научные люди: младшие научные сотрудники до седых волос, не сделавшие ни малейшей карьеры, вечные лаборанты, стекловары и оптики, непонятно как выжившие механики и стеклодувы, почти все немолоды – чтобы не сказать больше, молодых лиц почти нет – так, иногда мелькнёт третье поколение, чей-то внук или внучка, пристроенные в родные обветшавшие стены до будущих более благоприятных синекур, какой-нибудь тихий, замкнутый дипломник или аспирант, обладатели загадочных стипендий и грантов.

Приземистый сутулый старик – лысина в коричневых пятнах, но усы пышные, седые – смотрит на Александру, уставился красными удивленными глазками, не может оторваться. Понятно, что в голове его происходит тяжелое вращение склеротических шестеренок, напряженное и безрезультатное. «Ох, да это же Макар Федорович». Совсем старый, а был плакатный советский рабочий. А вот ведь были такие – работающие, честные, дружественные, простодушные, как дети, но и как дети могли быть жестокими. Но Макар Федорыч был хороший мужик – только выпить любил. А кто не любил? Она хочет подойти к нему, сказать какие-нибудь добрые слова – ведь ему уж за восемьдесят, но не подходит, неловко: что тут скажешь – жизнь прошла. Старый стекловар вздыхает, отворачивается – так и не узнал, пошёл, шаркая ногами, к каким-то старухам-химичкам, зашептался с ними. Химички поглядывают на Александру неодобрительно, с поджиманием губ: они-то узнали, глаза у них всегда были цепкие, осуждающие, сидели они в комнате над проходной, наблюдали в окно со злорадным предвкушением за опаздывающими (на проходной пропуска отнимали), ждали ежедневного волнующего спектакля: вот кто это там бежит, потный и красный, в расстегнутом пальто, а ну нажми, минутка осталась, а эта-то, в сапогах, ух, сейчас каблук сломает, ну всё... звонок! Самито они никогда не опаздывали – раньше всех являлись, дисциплинированные, партийные, нравственные очень; как-то дружно отказались дать деньги на ребеночка: новая лаборанточка родила крепкого мальчика – высчитали, что девяти месяцев со свадьбы-то не прошло, с возмущением отказались. «Во дают! Кошки драные», – сказал Макар Федорыч, сам принёс мятую трёшку. А это тогда деньги были настоящие, прстонародные институтские алкоголики по трёхе именно и занимали, когда спирт уже не у кого было выпросить, – скидывались на троих по рублю, но занимали по трёхе, бутылка каберне стоила, кажется, рубль шестьдесят пять, а портвейн «Три семёрки» – и того меньше.

Александра стояла в сторонке – знала своё место, чувствовала свою отдельность, ждала, когда все рассядутся; многие, однако, узнавали её, изумлённо кидались обниматься, быстро спрашивали о детях, о работе, о жизни вообще, какие-то еще вопросы дрожали в глазах, но, увлекаемые потоком, так с вопросительными глазами и убегали: «Потом, поговорим, да?» – пропадали в толпе. Чужая все-таки, уже чужая – так чувствовала. Но вдруг подошла Марыся, молча взяла за руку – сразу стало тепло и спокойно. Вениамин Т. пробежал мимо, проскакал на розовом коне, увидел Александру – не удивился, только слегка замедлил бег: «А ты что тут делаешь?» – и это после стольких лет её отсутствия в их тусовке (тусовок, между прочим, никаких тогда не было, то есть они, конечно, были – просто слова такого не было). Потом Вениамин, как будто что-то вспомнив (нет, как раз именно что вспомнил, мгновенно просчитал возможные резоны и выгоды), задержал бег, остановился, вернулся: «Слушай, мы тут оптику лазеров у вас пробиваем. Ты как? доступна для деловых разговоров? Так я тебя найду...» И снова побежал, не дожидаясь ответа, пожимая по дороге избранные руки, целуя жен и любовниц начальства, добежал до главного стола, поискал карточку со своим именем, удовлетворенно хмыкнул, протиснулся, сел лицом к публике, лицо сделал скорбное, начал устраиваться, расправил салфетку на коленях.

Марыся потянула за руку: «Пошли к нам». – «Нет-нет, я лучше тут...» – «А, понятно, остаёшься с народом? Хочешь затеряться в народной гуще?» – «Типа того...» – «Ну ладно, оставайся, я потом тоже к вам вернусь».

Подскочил какой-то распорядитель или секретарь, безликий, в черном костюме, в сером галстуке, зашептал что-то Марысе на ухо, вытащил из папки и стал показывать какие-то бумаги: «Марь-Васильна, нельзя откладывать, такой удобный момент, когда они еще все вместе соберутся, тут-то мы и возьмем их тепленькими... лучше вас никто не сделает...»; она отбивалась, отводила бумаги рукой, не хотела смотреть, хмурилась недовольно, но потом сникла. Он взял её под локоток и настойчиво направил к небольшой компании серьезных громоздких мужчин из министерства, они одновременно повернули свои бледные широкие лица, и несвойственные этим лицам улыбки слабо засветились ей навстречу.

Провожая взглядом Марысю, Александра неожиданно встретилась глазами с Павлом – он стоял в скучном кружке министерских, почти неотличимый от них, в таком же темном костюме, с подходящим выражением лица, глубокомысленно насупленный. Только что на кладбище он был вообще чужой, ни разу не подошел, суетился среди важных персон довольно неприятно – так ей тогда показалось, и она с огорчением отметила, что от старых друзей остаются одни лишь оболочки, причём слабо узнаваемые, а всё дружественное, нежное и доверительное в один момент безвозвратно улетучивается, когда такой момент по логике событий наступает. Ну зачем она ему здесь, он и забыл, что она тоже у Покровского защищалась, – называя многочисленных учеников академика (по всему свету разбрелись), расписывая их заслуги, совсем забыл её упомянуть, хотя... когда это было, эта её защита; как говорится, это еще до революции было, художественного значения уже не имеет.

С какими-то списками снова двинулся вдоль столов распорядитель, заглядывая в листки и сверяясь с карточками у тарелок, вытянул губы трубочкой, какие-то карточки задумчиво переложил, поменял местами, остановился, полюбовался.

Александра усмехнулась и подумала, что она не то чтобы в конце списка, а просто вне, и вдруг снова увидела глаза Павла, глаза явно искали её, и улыбку его увидела, предназначенную только ей, печальную и несчастную улыбку друга: «Ты здесь? Ты только не уходи». – «Куда же я денусь, конечно, я здесь, с тобой».

Как всегда, немножко обмана, но и немного правды.

Как во времена Смотрителя роз. Так они называли между собой странного милиционера и даже иногда решали считать его общей галлюцинацией – бывают такие коллективные миражи, неоднократно описаны, не могло же такое произойти

на самом деле – однако продолжали расспрашивать друг друга через много лет, уточняли детали, смеялись и снова уверяли друг друга, что с ними случился мираж, чистой воды мираж. Не бывает таких милиционеров. И все-таки... Они сидели на скамейке, в центре огромного полукруга между Ростральными колоннами, лицом к Бирже. За спиной были Нева и Петропавловская крепость, по левую руку Дворцовый мост, а на том берегу – Эрмитаж, Адмиралтейство, Исакий – естественная среда их общего обитания. Привычные декорации их любви, страданий, ревностей и обманов. И споров. О чем они тогда спорили? Спорили, спорили, настаивали и оправдывались.

Всё пространство от гигантской гранитной дуги до трамвайных путей, почти до ступенек Биржи, было заполнено розами. По ночам на эти плантации роз совершали набеги влюбленные мальчики. Ночью довольно легко было розы срезать, если заpastись предусмотрительно ножницами, но днем там дежурил милиционер, всегда один и тот же – это был его пост. Они давно узнавали друг друга, милиционер первый отводил глаза. И скамейку они облюбовали удобную, в самом центре. Всегда радовались, если она была не занята. Единственное место на земле, единственное и самое прекрасное. Они просто сидели, просто разговаривали. Павел объяснял, что сейчас ничего Тине сказать не может, надо подождать, когда девочка (Настя) уедет на дачу. Александра, опустив голову, сосредоточенно чиркала по песку прутиком, предлагала опять разбежаться по своим углам и больше к этому вопросу не возвращаться. Павел надувался, набухал обидой и снова заводил ту же пластинку: «Я хочу быть с тобой, мы будем жить счастливо и умрем в один день». Скучающий милиционер медленным бездельным шагом несколько раз прошел мимо, каждый раз быстро взглядывал на них и так же быстро отворачивался. Так он и ходил туда и обратно, туда и обратно. Вдруг милиционер остановился перед ними и, заложив руки за спину, с горьким упрёком произнёс: «Вот вы тут обманываете друг друга, обманываете – и обмануть не можете».

Подошел Николай, седой, похудевший, неухоженный, сразу видно: мужчина без женщины, без надежды найти новую женщину, да и без желания искать – просто обнял и прижал к себе, не сказал ни слова. Слезы из глаз его не пролились, но Александра их увидела. Все было понятно. Имя не было произнесено. Но Лидуша в этот момент стояла рядом. Александра поцеловала его. И долго-долго гладила по спине, пока он не проглотил свои слезы и уже нормальным голосом произнёс: «Что ж ты не позвонила?» – «Да я же прилетела только что. И вот, пожалуйста, такие... события». – «Так это у нас... постоянно. Время потерь».

И они прошли в самый конец стола и сели вместе.

\* \* \*

Так часто бывает на поминках: забывают люди, что, собственно, здесь происходит, почему сидят они за одним столом. Приятное общество, знакомые всё лица, свои, – какие-то незнакомцы присутствуют, конечно, но это так – вкрапления. А главное – есть с кем поговорить, поспорить, повозмущаться. Без возмущений у нас не обходится, какая скука, если нечем возмутиться. Если наступит всюду Ordnung, что это будет за жизнь, подумайте сами. Не наступит, не волнуйтесь. Даже на родине Ордунага торжество его как-то не наблюдается. Вам бы всё шуточки шутить. Видно, давно вы в свет не выходили. Я имею в виду в какое-нибудь присутствие. Воля ваша, но я действительно не понимаю, почему всё стало настолько хуже. В каждом кабинете, за каждым окошком сидит чиновник, и все новые и новые справки требует. Люди мечутся, ничего не понимают, носят с кипами бумажек, потеют, волнуются, прижимают папочки к груди, теряют бумажки, плачут, и надо всем этим сияют лозунги «единых справедливых Россией» и прочей херни, и уже радуешься как единственно нормальному человеку тому столоначальнику,

кто берёт. Гоголя на них нет. И не будет. Ишь чего захотели – Гоголя им подавай. Размечтались. Надо просто научиться *давать*. Да как, как давать-то? Я пытался. Ну и как вы пытались? Я, как раньше, протянул ей пятьсот, говорю, даже вполне уверенно говорю, как в прошлый раз: «Зачем я конфеты или духи... вот, сами распорядитесь», – так она даже не посмотрела, сдула бумажку, пришлось поднять, нагнуться, представляете, унизила меня – а может, там камеры у них стоят, проверка на неподкупность, и бормочет своё: «Подавайте заявление». А я знаю: подать заявление – это всё снова по кругу. За это время другие справки устареют. Мне же только копию. Что могло за две недели измениться? Очень даже могло. Вы просто смеётесь надо мной – никакого сочувствия. Ничего не могло измениться. Прекрасно могло измениться. Бездна человеческой наивности продолжает меня восхищать. Вы просто очень наивный человек – произошло изменение ставок взимаемых взяток. Понимаете? *Изменение ставок взимаемых взяток*. Пятьсот... это, значит, что? Меньше двадцати долларов, что ли? Так это вы унизили бедную женщину. Тем более доллар падает. Опять же инфляция. Зарплаты у них ма-а-аленькие. Давайте-ка я вам налью. При чём здесь – «доллар падает». Я же рублями. Нет-нет, водки мне не надо, я уже давно коньяк пью. Вы всё время сами себе противоречите. То говорите, у нас ничего не меняется, то вдруг за две недели всё изменилось. Никакого противоречия. Это такая наша специфика. Частности, инструкции, бланки, формы отчётности, банковские ставки и, натурально, *ставки взимаемых взяток* непрерывно меняются, но *целое* неизменно и движется, слегка вращаясь и поворачиваясь к нам узнаваемыми гранями, – по спирали, конечно, но близкой к прежнему кругу. Такая у нас спираль, медленная, с маленьким шагом. Всё смеётесь, а между тем... Слушайте, а икру-то всю подмели... Ну, народ, оглянуться не успеешь...

«Ой, ой», – всполошилась химическая сотрудница. С почтительными глазками слушала она беседу умных мужчин, кивала, поддакивала то одному, то другому. Вскочила, запнулась, чуть не уронила хлипкий казенный стульчик, побежала куда-то, торжествующе принесла целое блюдо бутербродов с икрой. «Спасибо, Ираида Борисовна, добытчица вы наша», – похвалил тот, который толковал про спираль, язвительный доктор наук. Всего лишь доктор. А друг его, академик, не умеющий *давать*, осторожными пальцами взял бутерброд и благодарно улыбнулся. И жена его тоже взяла. Но важно – без улыбки.

Сторонник теории медленной спирали, нетщеславный простой доктор наук, занимался когда-то горячей плазмой, да, точно, писал еще популярные статьи о фантастических каких-то источниках энергии, преподавал в школе для одаренных детей, докторскую писать долго отказывался, защитился только под жестким давлением своих аспирантов – им-то он нужен был также и в качестве официального руководителя. Идеи неостановимо клубились у него в голове, как живородящие дьяволы Максвелла, и щедро выплёскивались на кого ни попадя, на всяких проходимцев, которые плотно и энергично их впоследствии разрабатывали, забыв о первоотлчке. Он и не напоминал: «У меня еще много». Ученики переживали, обижались и к проходимцам ревновали, но преданно его любили, однако ворчали: «Разбросанный очень». В дни перестройки он сдуру попал в Законодательное собрание, увлекся социологией, всерьёз, но, как всегда, ненадолго; поразил социологов несколькими специальными статьями, опять всё бросил, вернулся в науку окончательно. Покровский его ценил, поощрял всячески, создал под него отдельную лабораторию. А что теперь будет, кто будет финансировать эту лабораторию после смерти покровителя, простой доктор наук еще не думал и не желал думать, а, прожевав бутерброд, продолжил:

«Рыночная экономика уже разделалась с наукой, наш термояд – разуйте глаза – разгромлен. Энергетический голод неизбежен. Утолить его будет нечем. А я вам обещаю – он появится. В ближайшем будущем. Да-с! Когда последний галлон нефти и последний кубометр газа уйдут на Запад. Прощально лягнет железный

шибер – и медленно опустится железный занавес, гарантирую, на этот раз с той стороны. Да! Ну что смотрите, не верите? Думаете, не доживете? Доживёте, доживёте, вы у нас еще здоровенькие, молоденькие...»

Химические сотрудницы льстиво захихикали.

«Вот! Пожалуйста: смеются, не верят. А-а-а... не понимают, смеются, несчастные, а я вам вот посоветую: поезжайте, поезжайте на берег турецкий, пока пускают. Помните, что в далекой перспективе он нам снова будет не нужен. Ну да, так принято будет говорить. А там все еще очень доступные цены, и они стараются, держат марку, подделка под европейский сервис, конечно, но все-таки...» И профессор запел: «Не нужен мне берег...» Жена академика в ужасе выпучила глаза. Поминки же. Профессор закрыл рот ладонью: молчу, молчу.

Академик потянулся за коньяком. Жена академика попробовала выразить неудовольствие, попыталась схватить его рюмку, усилила требовательность взгляда, но муж уже осмелел, отвел её толстые руки, вернул покачнувшуюся рюмку на место, – властные взгляды заботливой женщины на него уже вообще не действовали, налил профессору, потом себе. Жена отвернулась, сделала лицо.

«Да уж такая глупость... лучше вернёмся из мрачного будущего в полное надежд прошлое», – попросил академик коллегу. И начал вспоминать, как никто его в былые времена не контролировал, как закупал он новейшее оборудование на валюту, а теперь... – «А теперь вы тут случайно приземлились, а так – летаете с конференции в Мюнхене на симпозиум в Токио над всей великой Русью, причём на денежки налогоплательщиков, а раньше кланчили у приглашающей стороны...» – «Я кланчил???» – «Ну хорошо, ну не вы, пусть даже я. Разве можно сравнивать». – «Да, но теперь-то какие-то менеджеры от науки появились, решают – кто они такие??? – какие фундаментальные направления сокращать, а какие развивать. Как они смеют решать? Немыслимое дело».

И они заговорили о своей науке. Опять забыли, где они находятся. Увлечлись и взволновались. И не смотрели уже на недовольные лица своих жен. Собственно, так всегда было: волновала их только собственная работа, то есть непрерывная наркотическая игра в бисер, понятная лишь узкому кругу, а близких женщин раздражавшая. Ну сколько можно о работе – укоряли подруги. Но сами эти увлекающиеся игроки в глубине души не могли называть дело жизни работой. В редких случаях смирялись жены с этой наркотой и независимостью мужей. Ну... смирялись, конечно, – ничего не поделаешь – особенно если приходили высокие звания, должности, премии, слава и деньги. И не только смирялись, но уже и потакали даже. Создавали условия. В этом им, женам, не откажешь. И начинали уже другую борьбу – за новую славу, новые дома, новые премии, за поездки с сопровождением, за гранты, за банты, за ордена и премии – а главное, против ужасных, непродуманных выступлений собственных мужей о незначительности этих игрушек. Ну а самое, самое главное – против периодически появляющихся вблизи охраняемого объекта (мужа-академика) физических тел, отвратительно молодых и преимущественно женского полу. Непривычная ориентация была еще не принята в академической среде. Хотя...

Даму, жену академика, сидящую напротив, Александра узнала сразу по общему выражению неодобрения на лоснящемся оплывшем лице, но имя её вспомнить не могла: какое-то у неё было странное, претенциозное имя – Роксана, Рогнеда, Ратмира – как-то на Р. Прежде случалось с ней встречаться на всяких банкетах и приёмах. Одно время с будущим академиком – он тогда даже и докторскую еще не защитил – пришлось Александре работать над одной темой, настолько важной, что Покровский собирал всю их команду еженедельно в своем кабинете во второй половине дня, ближе к вечеру, когда административное напряжение слегка спало и можно было наконец спокойно поговорить. Спокойно не очень получалось, потому что тема горела. Сопровождения эти были совершенно неофициальные (мозго-

вой штурм) – важные дела именно в таком режиме всегда и решались – и затягивались надолго. И вот всегда в семь часов, а иногда чуть раньше, дверь кабинета распахивалась и на пороге возникала, как грозная тень командора, жена будущего академика; за спиной её моргала виновато секретарша, а иногда и не моргала, поскольку рабочий день секретарши давно закончился, и она полное право имела отправиться домой. Большая женщина застывала молча и недвижно на пороге (никаких никому приветствий), устремив на мужа говорящие глаза и тонкие сжатые губы. Бедный будущий академик суетливо дергался, затакивал как попало в свою папочку бумаги, неловко мял их, дергал незакрывающуюся молнию под насмешливыми взглядами коллег, торопливо прощался, семеня к выходу. Потом у него случился инфаркт, но не очень обширный, и через полгода он к ним вернулся, снова сидел за общим длинным столом, похудевший и грустный. Тема меж тем тронулась с места, появились замечательные результаты, финансирование продлило, и более того: еще и накинули на технологические испытания. И тут Александра заметила, что командор больше не появляется, и спросила тихонько у Покровского: «Почему? как вы думаете?» – спросила после совещания, уже в машине – он любезно всегда развозил участников по домам. Покровский изумился её вопросу: «А зачем ей теперь появляться – она уже победила».

Муж победившей Р. (всё-таки, кажется, Роксаны) стал академиком довольно поздно, уже в перестроечные времена. Именно тогда она окуклилась окончательно как Дама.

Между прочим, в эти дикие годы появилось невиданное количество академий. Однажды пришло Александре любезное приглашение стать действительным членом Новой Нью-Йоркской академии наук, и предлагалось перевести сто долларов на указанный счёт – взамен обещали незамедлительно выслать настоящую диплом. Александра посмеялась и письмо выбросила. А вот друг Володя Л. тоже посмеялся, но не пожалел ста долларов – ну были у него, он на прибыльную риелтерскую стезю вступил, а науку совершенно бросил, – выслал по указанному адресу и в обещанный срок получил диплом неопишуемой красоты, коричневый с золотыми буквами и вензелями, пригодный для вывешивания на стенку – там была специальная петелька, а с диплома свисали на перекрученных шнурах роскошные кисти, тоже из золотых нитей. И Володя Л. повесил диплом на евроремонтную стену в своей новой квартире, подводил гостей, показывал. Гости из гуманитариев удивлялись, ахали восхищенно, какие люди среди нас, а физики-математики хмыкали и хлопали Володю по плечу.

Но муж Дамы Р., сидящий, естественно, с ней рядом (от себя она его никогда не отпускала, даже и после окончательной победы) был настоящим академиком. Каждый раз надо было уточнять: «настоящий академик» – то есть той самой Российской академии наук, что унаследовала, переняла все достоинства АН СССР – ну и недостатки тож. И Дама всегда уточняла и любила это подчёркивать – то есть факт настоящести, а не недостатки возлюбленной и вымечтанной на старости лет Академии.

И вот они говорят, говорят, перебивают друг друга, подкалывают, острят – давно уже не сидели вместе за одним столом, забыли, что это стол поминальный, увлеклись. И снова возвращаются к болезненным причитаниям о падении статуса своей науки. Про то, что оборудование устарело и уже более двадцати лет не покупали ни одного прибора, и приходится экспериментаторам метаться по всему свету: пытаются бедолага удержаться на мировом уровне; про то, что пагубно сокращать фундаментальные направления, потому что не все идеи «выстреливают» так быстро, как хотелось бы уважаемому министру; про то, что индекс цитирования ничего уже не определяет в сложившихся обстоятельствах... и студенты не идут работать в научные институты, а идут студенты в, стыдно вымолвить, в мерчендайзеры или в какие-то, прости господи, дивелоперы. А что это такое,

мечер... меркчен... ну, вот то, что вы только что сказали, уже не первый раз слышу. А? Мерчендайзеры? Это, знаете, особая наука, умение раскладывать товар таким образом, чтобы невозможно было мимо пройти, не купив чего-нибудь, специальные курсы есть, платные, довольно дорогие, – но затраты окупаются, говорят. И откуда это вы всё знаете? Так от студентов же, студенты и рассказывали. Ну и как же вы им лекции читаете, если они не идут работать по специальности, если наука им неинтересна? Это как-то получается... что и ваша работа бессмысленна. Да, именно так и получается. Вы еще скажите, что это я не привил им любовь и страсть к научной работе. Ну не хотят они идти работать в умирающий институт за нищенскую зарплату. В прошлом году у меня очень хорошая группа была, так только *один*, представляете, только один, работает по специальности, девочка Оля у меня диплом писала – уговаривал поступать в аспирантуру, сначала согласилась, а потом передумала, оценив нищую перспективу, занимается... ландшафтным дизайном. А другой толковый мальчик... пилки для ногтей делает. Это вы только что нарочно придумали, не может такого быть. Очень даже может быть, а вот сейчас позвоню... Да ладно, не надо. Вот вы всё ругаете, а что делать-то... Кстати, забыли, как мокло импортное оборудование у нас во дворе в красивых ящиках... Ругать просто, вы бы лучше... А я не только ругал, я вон ему писал. (Заместитель министра глянул в их сторону, словно услышал, о чем речь идет, – а сидел далеко, никак не мог слышать, и тут же отвел глаза.) Ну и что? Ну и ничего.

И включаются в разговор и подсаживаются с рюмками другие сотрудники, удрученно качают головами, поддерживают. Один говорит ни к селу ни к городу: «Не мечите бисера перед свиньями, дабы они не попрали его ногами и, обернувшись, не пожрали вас...». А другой, уже плохо владея речью и собой, наклоняется к простому профессору: «На хрена ты писал вору и разбойнику о муках обворованных и ограбленных». Жена академика не скрывает своего ужаса, пытается встать, приподнимается, но академик тянет её за руку вниз, повелительно: «сиди!» Немолоды эти люди, они много работали, всё про них известно, они заложили основы чего-то, открыли новые направления, получали премии, были признаны теми, кого признавали сами, – узкий круг, тонкий слой – у них были надежды – сейчас надежд нет, но менять уже ничего не хотят в своей жизни. Да и не возьмут их ни в какие мерчендайзеры.

К процедуре поминок возвращает их чей-нибудь тост.

Поднимается какой-нибудь важный, одергивает траурный пиджак, поправляет выбившийся галстук, откашливается, стучит ножом по стеклянному, грозно оглядывает публику – все затихают, подбираются, держат наготове свои стопочки, ждут. Иные торопливо хватают бутылки, наливают себе и соседям. Тоже застывают, потупляют глаза. Пережидают эти речи. Важный, кому положено, начинает говорить – кто попало не встанет и не начнёт – и восхвалять: непоправимая утрата, истинный ученый и труженик, бескорыстный служитель, гордость отечественной...

Да, всё так, всё так... Уходят они... Один за другим... Помянем.

\* \* \*

– Коля, ты хочешь, чтобы я тебе сказала слова какие-нибудь?

– Ничего я не хочу – просто разговорился некстати, ну повело меня немного. Я так рад, что ты приехала, а ведь могли и не увидеться...

– Ну уж... прошли те времена. Два часа лёту – ну, два часа с половиной...

– Вот увидел тебя и разговорился. Но я ведь не болтун, ты знаешь. В старости, я замечая, очень человек становится болтлив, особенно если одинок. Не хочу превращаться в болтливого старика... Да... А Лидуша тебя любила... мне здесь поговорить о ней не с кем... никто не понимает... Слушай, как странно – водка хорошая, я последнее время всё дрянь какую-то пью.

– Ты вообще, Коля, много пьёшь, ты кончай это дело...

– Ну уж нет, с какой стати, ты даже не представляешь себе, как меняются ощущения: мне кажется, я только тогда и живу. Когда я просыпаюсь утром, я так ясно всё вижу, так всё понимаю и в людях, и в друзьях, и в женщинах – и в стране, кстати, – что жить дальше решительно не в состоянии. Безнадёга. Такое русское слово. Но сделаю первый глоток... И снова живу... Иду на работу.

– А там второй глоток? Да?..

– Ну нет, не сразу... Только в самом конце дня. С такими же, как я. Бредем, не разбирая дороги. Не в силах расцепиться. И лица у них вдруг становятся такие приятные, как в дымке, заходим куда-то, сидим, разговариваем, понимаем друг друга с полуслова, хорошо нам – мрак накатывает уже потом, когда бредёшь в темном городе, спускаешься в метро, стараясь не покачнуться, не попасться на глаза ментам, на последнем, как говорится, дыхании, на автопилоте, дойдешь до своего дома, до своего чужого холодного дома – и упадешь, провалишься... до следующего темного утра. А слова твои не помогут. Я всё про себя знаю. Я с Лидочкой каждый день разговариваю.

– Но я все-таки скажу... Это, Коля, у всех так. Всегда мучительно думать про тех, кто ушел. Всегда думаешь, что если бы что-то по-другому сделал, они бы живы были сейчас. И у меня так было. Я отца оставила и ушла, а могла бы остаться, – там на ночь можно было остаться, а он без меня умер, соседи по палате рассказали, что он меня звал, потом поцарапал доску – они инсультников такой доской отгораживали, чтоб не падали, утром пришла – кровать пустая... Да и вообще безмозглая я была, надо было врачей всех поднять, сиделку нанять, лекарства новые появились – не понимала... да... были ведь настоящие врачи, можно было бы вытянуть...

– Ты не догоняешь: у меня же совершенно другой случай, я же действительно их предал, бросил Лидушу с тётей Зиной и смылся... Я там у них, видите ли, задышался. Мысли у меня, видите ли, были, идеи дурацкие – ни одна, кстати, не получилась. Среда мне была нужна их долбаная, не мог я жить без разговоров с тем же Юркой. Потом уж, правда, Юрка откололся, впал в медицинскую тему и увлёкся как безумный... Ну, ты его знаешь, он по другому не умеет... да еще со Светкой начал разводиться... а я так не могу: от меня уже другие люди стали зависеть. Мы грант получили все-таки. Юрка напоследок помог, он в этом деле незаменим. И вот чужих я не подвёл, не оставил, а своих бросил.

– Во-первых, ты не бросил – ты же деньги им посылал, они бы без тебя, может, вообще загнулись, лекарства тоже посылал. Была надежда выкарабкаться, в Питер вернуться...

– Да, светила Южная Корея – это был шанс, потому и схватился: думал, наскребём на квартиру какую-никакую, хоть комнату в коммуналке, перетащу их сюда...

– Ну вот видишь... А во-вторых... Даже если Лидуша считала, что ты её бросил...

– Считала, так и писала. Хотя обратно не звала – даже требовала, чтобы здесь оставался, но каждое письмо начинала словами: «С тех пор, как ты нас бросил...».

– Ну не смертельно же это само по себе. Ты оглянись, что вокруг творится. Все развелись. Что же – все старые жёны погибли? Вон Лия прекрасно себе живёт. У них с Серёгой нормальные отношения, с внуками время проводят, никто не погибает.

– Некоторые и погибают, не все такие живучие, как... Умолчим. Да... а деньги эти проклятые... кто-то, значит, выследил: город-то маленький, обменных пунктов всего несколько, знали, что у Лидуши доллары. Убить за пятьсот долларов... Ты можешь мне это объяснить?

– Не могу я тебе ничего объяснить. И никто не может. Тем более здесь вообще ни за что убивают – что ты мне вопросы бессмысленные задаешь? И восклицаешь. О! Давайте восклицать, друг другом восхищаться...

– Перестань, пожалуйста. Видишь, эти дуры смотрят.

– Ах не хочешь? Не хочешь нами восхищаться? Прилетела – и все тебе не нравится. Не тянем мы уже на твоё восхищение? Да?

– Пожалуйста, я прошу тебя... А вот это не надо... Отдай бутылку, отдай подру-поздорову.

– Ты здесь не один... Люди смотрят. Хватит тебе... Давай съешь чего-нибудь. Ты же не ел ничего. Вот мясо какое-то принесли, давай положу тебе – смотри, какой отличный кусок, вот, возьми чистую тарелку. Ну что это, что это? Прекрати истерику, ну я не знаю просто... Ну не вернёшь Лидушу, а жить все равно надо. Как это не надо. Зачем? Не хочешь? Тебя никто не спрашивает. Хочешь или не хочешь. Надо – и всё. Лидуша хотела бы, чтобы ты Володьке помогал. Мне говори-ли, у тебя внук скоро будет...

– Не хочу никаких внуков, больше никого не хочу любить... Отдай мне письма...

– Отдам, конечно, отдам. Найду и отдам. Я еще в квартире не была. Николай, ну пожалуйста, не устраивай ты им этого представления, видишь – устались. Я вот что, я сейчас, я Павла позову, и мы тебя домой отвезём...

Александра поднимается, ищет глазами Павла, крепко сжимает плечо Николая, как будто без её вцепившейся руки он упадёт, распадётся на безобразные осколки на глазах у любопытствующих химических старух. И так уже пальцы его судорожно рвут тугий ворот заношенного свитера, судороги терзают горло, хриплые мужские всхлипы пугают официанток, дама по имени Р. смотрит брезгливо и осуждающе. (Александра вспоминает слова Лиды из давнего письма: «...на роль истерички у нас назначен Николай». Как ему теперь эти письма отдавать, какие отдать? какие спрятать? Он ведь еще пуще начнет страдать: такой человек, всегда был выключен из обычной жизни – ничто его в так называемой «реальной» жизни не интересовало. «Эти игроки в бисер без женщин долго не живут», – произносит чей-то холодный голос. Вчера кто-то так сказал – может быть, Сергей. Услышала чей-то разговор сквозь мутный туман. Какие все жестокие стали.)

Как ни странно, Павел улавливает призыв Александры – хотя сидит далеко, за главным начальственным столом, – делает ответные понимающие знаки, выбирается из министерского окружения и вот уже идёт, идёт к ним... Но вдруг лицо его по дороге меняется, застывает, твердеет, покрывается серой плёнкой страха, он смотрит куда-то поверх голов. Александра оглядывается и сразу понимает, что это – Тина. Неузнаваемая, расплывшаяся Тина с трясущимися серыми щеками, что-то шепчет, дышит с присвистом, огибает Александру как незначительное препятствие, не узнавая, не останавливаясь. Они не встречаются взглядами – какие уж тут взгляды после бездны лет, Александра просто видит застывшие, безумные глаза и говорит тихо, для себя: «Она убьёт его».

Тина неожиданно сильно вцепляется в грудь Павла – пиджак перекашивается, рубашка вибивается наружу – и шепчет в его окаменевшее лицо: «Ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя ...».

Но откуда-то сбоку выплывает огромная темная спина, поперечные пиджачные складки сейчас лопнут, спина раскидывает руки: «Спокойно, Валюша, всё-всё, всё в порядке. Его перевели просто для профилактики, за ним там будет круглосуточное наблюдение». И Тина долго трясётся в железных Юркиных объятьях, бьётся, как большая толстая рыба, и стихает постепенно, беспомощно стихает.

«Вы меня когда-нибудь dokonаете, честное слово», – говорит Юрий Сергеевич (откуда он взялся-то?), одной рукой продолжает прижимать к себе ослабевшую Тину, другую руку протягивает Павлу, и тот её с тяжелым вздохом пожимает.

Появляется Надежда, сама подходит – у неё с Тиной и всегда были какие-то особые отношения, впрочем, вовсе и не особые – простые, добрососедские. Дачи их в Комарово разделял общий, со временем упавший, забор, долго нарочно не поднимали – удобно было переступать на соседний участок. Пока мужья в душном городе увлекались своими скучными делами, у них были другие радости:

отборная рассада, чудодейственная подкормка, первые огурцы, пленка для парников – то её снимали, то снова натягивали, вместе закрывали редис от пагубного света белых ночей, вместе пересаживали кусты смородины, а ещё – цветы, рецепты, летние чаи на веранде в неповторимые года, которых больше не будет. Две женщины обнялись и рыдают, никого не видят вокруг. На них поглядывают – что-то уж слишком громко, не принято это в нашем сдержанном городе. Слегка прорывающиеся слёзы – это еще понятно, это естественно. Как прощальные поцелуи на вокзале. В строгие пуританские времена, рассказывают, во времена разгула советских народных дружин парочки ходили на вокзал, чтобы целоваться. Серёгу с Лией однажды действительно чуть не замели яростные дружинники за безнравственное поведение – на вечере это было, в Павловске, они целовались во время танца. «Пройдете, молодые люди!» – «Да мы заявление подали». – «Пройдете, там разберутся, куда вы заявление подали». Едва отбили их совместными усилиями. Лия догадалась вытащить талончик на приобретение дефицита к свадьбе – был такой заветный магазинчик, на талончике и фамилии их стояли. Доказательство. Отпустили неохотно.

Заместитель министра посмотрел на своих, скорбно вздохнул, положил скулу на сжатый кулак, прервал разговор, печально прикрыл глаза. Ничего-ничего – люди в своём праве. Плачут люди. Слёзы заразительны, как кашель на концерте. Вот даже и мужчины жмурят глаза – прячут слёзы. А уж женщинам тем более простительно. О чем они плачут – о том, что жизнь оказалась короткой. А вы не знали? Знали мы, знали, но не хотели думать, не успели подготовиться. Есть ли тот свет, нет ли его – ни доказать, ни опровергнуть. Но разлука-то, разрывающая сердце, есть. Как тут не плакать. Пусть близкие люди поплачут. Министерские деликатно отворачиваются, смотрят в пол, терпеливо пережидают непонятную заминку и появление новых пришельцев, хотя давно пора уже вернуться к делам, к плетению дежурных интриг – зря, что ли, собрались вместе значительные люди: всё надо использовать, всё у них идёт в дело.

К Александре подходит Настя, улыбается: «Вы меня еще помните, тетя Саша?» Голос глухой и низкий, вертит в руках незажженную сигарету (если честно, на улице Александра её бы не узнала – красивая какая стала, еще лучше, чем в юности, лицо усталое, значительное, синяки под глазами, а красивая).

Настя неожиданно произносит: «У нас Андрей в реанимации».

Один только Юрий Сергеевич знает, что Андрей спрятан в реанимационной палате по его приказу. В конце дня прибежала дежурная сестра с побледневшим, испуганным личиком, с дрожащими губами. Какие-то поздние посетители устроили хамство в гардеробе, угрожали, пытались прорваться сквозь вахту. Один до сих пор хочет пройти, но уже ведёт себя довольно скромно, просит униженно, говорит: очень надо... Юрий Сергеевич подошел к окну, глянул вниз – у подъезда стоял джип с приоткрытой дверцей, рядом курили два неприятных бритоголовых парня во всем чёрном. Дежурной выдал быструю инструкцию: «В реанимацию его, от греха подальше...». Не поленился спуститься вниз, в вестибюль. С деревянной лавки у вахты навстречу ему поднялся понурый Ильяс. Правая рука у Ильеса висела плетью, свежая синева сползала от глаза по скуле вниз, к подбородку и распухшей губе.

«Медицинскую помощь по таким пустякам оказывают в травмпункте, – Юрий Сергеевич указал на висящую руку и разбитую морду, махнул рукой куда-то в сторону, – туда иди. Они там круглосуточно. Царапины – это не к нам. А дружан твой сейчас недоступен. Никаких посещений никому не разрешаю. Пишите эсэмэски, если хотите». Ильяс открыл рот, втянул в себя воздух, один глаз у него отчаянно

вытаращился, другой выкатил слезу из щёлки под вздувшимся багровым веком. Ничего не сказал, выдохнул со стоном, как старик.

Потом Юрий Сергеевич зашел в палату, из которой уже выкатили кровать с Андреем вместе с капельницей, выдвинул ящик тумбочки, положил в карман мобильник, подумал, переложил мобильник Андрея в свой портфель, защёлкнул замок, захватил забытую бутылку сока и двинулся в сторону реанимационной. У входа в реанимацию на старинной больничной скамье развалились два охранника, боевые стволы скучали рядом. Один что-то рассказывал, игриво перебирал пальцами. «У, бездельники...» Молоденькая сестра хихикала перед ними, оттянув кулачками карманы короткого халатика, переступала тоненькими ножками, кокетничала. «Уволить, что ли... покинула пост...» Увидели его. Охранники подобрались, лапы положили на стволы, сдержанно кивнули, а сестра вздрогнула, побежала вперед, почтительно раскрывая перед ним двери бокса.

– Какого хрена, дядь Юра? – Андрей приподнялся на локте. Трубочки капельницы заколыхались, штатив с бутылочкой задрожал. – Схватили, повезли, ничего не объяснили. Телефончик не дали послушать. Мордovorоты эти тут зачем-то... Мобилка моя где?

– Вот что, дружок. Здесь ты будешь подчиняться мне. А телефончик... вот он (похлопал по портфелю). Но не отдам. Понятно? Ты лучше скажи, сколько ты должен?

Андрей жалобно шмыгнул носом, откинулся на подушки, закрыл глаза и еле слышно пролепетал цифру. Юрий Сергеич присвистнул, придвинул стул к постели, сел, возвел глаза к потолку, постукал пальцами по подбородку, пожевал губами, задумался.

– Не врешь?

– Дядя Юра, отдайте мобилку. Я маме хочу позвонить.

– Вот маме как раз и не надо звонить, никому не надо звонить.

– Я в тюрьме, что ли? В тюрьме теперь у всех мобилки, между прочим.

– Вот когда ты будешь в тюрьме, я тебе его верну, непременно. Договорились?

А сейчас – лечь на дно и не высовываться. Никому не звонить, не вставать. Если ты не совсем дурак, будешь мне подчиняться. Пока.

– Дядя Юра, ну... дядя Юра-а-а !

Но Юрий Сергеевич слышал эти вопли уже в коридоре. А маме Андрей все-таки позвонил. Очаровал сестричку бледной своей красотой, влажными ореховыми глазками в детских мохнатых ресницах, легко увел девушку у бездельных охранников, выпросил телефончик, пожаловался маме на дядю Юру, сообщил, что переведен в реанимацию, – в таком он, стало быть, состоянии, опасность для жизни – ни с того ни с сего в реанимацию не переведут. Голос был тихий-тихий, шелестящий, умирающий.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. В СТАРОЙ КВАРТИРЕ. КНИГИ И ПИСЬМА

Несколько раз с грузом старья спускалась Александра к мусорным бакам. С трудом подняла и вынесла швейную машинку, подольскую, ужасную – ни одного ровного шва никогда не прострочила, путала нитки и рвала ткань; фотоувеличитель на тяжелой металлической подставке – металл кому-нибудь да пригодится; мятые алюминиевые кастрюли и побитые эмалированные тазы; пальто длинное, когда-то прекрасное, с настоящими перламутровыми пуговицами, лень было срезать (потом пожалела); противни со столетними напластованиями сгоревших жиров, липкие железки – останки газовой плиты; еще пальто, и еще одно, и плащи, и мешок с клубками шерсти вместе с мертвыми личинками моли, и тостер, усыпанный следами тараканов, и стопку невзрачных общепитовских тарелок, и мешок с искореженной уродливой обувью, еще какую-то одежду в старинном соломенном коробе, в сумках, узлах, картонных чемоданах. И каждый раз, вернувшись в смрад-

ный помойный закуток с новым грузом, удивленно отмечала, что только что принесенные унылые вещички уже кто-то хозяйственный прибрал (высмотрел, что ли, в большой полевой бинокль), спустился вниз и быстро унёс добычу. Казалось, чужие внимательные недобрые глаза всё время за ней наблюдают, притаились за темными стеклами молчаливого, безлюдного двора, ждут, когда она поднимется к себе. Неприятно чей-то взгляд покалывал спину.

Что делать со старыми книгами. Куда их девать? Букинисты посмотрят презрительно. Выбросить – рука не поднимается. Подарить – никто не возьмёт. Остаётся оставить всё как есть: пусть другие решают: у них ничего не связано с этими жалкими переплетами, лелеющими внутри ахинею советских лет. Какие-то названия странные: «Это было под Ровно», «Флаги на башнях», «Педагогическая поэма». Бабушка читала и перечитывала – нравилось ей. Частокол Драйзера, какой-то Кронин, романы, вырванные из журналов, из «Иностранки», переплетены в одинаковые жесткие рубашки – в институте был переплётчик, рубль брал за переплёт. «Мать и музыка» Цветаевой на папиросных листках («Эрика» берет четыре копии, чей-то подарок, в те времена ценный, любовно изготовленный), такой же Мандельштам в самодельной обложке, ситцевой, – фон темно-синий, цветочки мелкие. Твой подарок, твой. Помню, а тебя уже нет. Ничего диссидентского. Не были мы героями, не выходили на площадь – но болтали вдоволь, создавали ноосферу свободомыслия. Пронесло. Не всем так повезло. Большинству – да, повезло. А кое-кто и попался. Подумать только – за невинного «Доктора Живаго» в ящике стола человека выгнали с работы... погубили, можно сказать, никуда не брали, никуда устроиться не мог – из первого отдела во все места заблаговременно позвонили, издевались, ни в тюрьму, ни в психушку не посадили, а погубили – уехал в провинцию, жена за ним не поехала, спился там окончательно – так сына маленького и не увидел. Неподъемная глыба – фотокопия Белинкова про гибель русского интеллигента, толстые листы загибаются, распрямить невозможно, некоторые залиты чем-то коричневым, проникающие разводы, у многих эти листы побывали – а печатали в лабораторной фотокомнате, сменяя друг друга, в день коммунистического субботника. На государственной фотобумаге. Веселый цинизм. Неужели не донесли? Или все-таки донесли, но они уже махнули на нас рукой. Разброд и шатание в рядах. Стукачи потеряли всякую совесть, работали спустя рукава. Совершенно безответственные, случайные люди. А где было взять ответственных и добросовестных? Идейных? Все запасы кончились. Идеи протухли. Интересно все-таки, платили им или только за страх. Один (как же его звали, совершенно вылетело из головы) навязался провожать. Давно уж его вычислили в лаборатории, он поводы давал, как будто нарочно, подмигивал и намекал. Провожал домой после банкета – никак не отвязаться было (Венька тогда защитил кандидатскую). «Нет уж, я тебя отвезу, мы же соседи». И в такси вдруг начал её хватать, лез под юбку. Хорошо, зонтик оказался в руках, отбилась зонтиком. Обиженный, забился в угол, забунил: «Вот вы меня не цените, а ведь одного моего слова достаточно...»

Невозможно выбросить книги... это как с кусочком хлеба: бабушка всегда заставляла поднять с пола, с земли – скормить птицам, положить на приступочку, даже если очень торопишься, бежишь мимо – не бери грех на душу, пусть кто-то другой... а ты не смей, может, голодный мимо пройдет: обдует сор и съест.

Иногда зачитывалась, как случалось всегда: начнешь вытирать пыль с полок, откроешь случайную страницу – и не можешь оторваться:

«Предлагаемый благосклонному вниманию читателя "Практический Указатель г. Петербурга" имеет целью прежде всего дать возможность лицам, впервые приходящим в столицу, быстро ориентироваться».

Отложила в стопочку, с надеждой увезти. На чужбину. Обложка с вечным Медным всадником почти оторвана, болтается на одной ниточке, насущная реклама: «Шелковые, шерстяные материи, плюш, бархат и бальные новости, бумажные

ткани и суконный отдел для верхних вещей», объявления: склад какого-то Губнера переведен с 11 февраля 1896 г. в Банковский пер. № 6 и 7. Яти, еры, «и» с точкой. Чудный старинный шрифт. Страницы рассыпаются – выпала бледная карта.

«Приложенная к "Указателю" карта – план г. Петербурга – составлена с таким расчетом, чтобы читатель мог видеть удобные и дешевые пути сообщения (на карту нанесена сеть конно-железных дорог). На оборотной стороне плана помещен алфавитный список улиц, линий, рот, переулков: их легко найти на плане».

Никто не брал в руки этот «Указатель». Никто не разворачивал план, хотя на нём всё так легко можно было найти. Много, много лет. Не было интереса к Прошлому. Не потакали. Интерес и пропадал. Любопытство считалось грехом: «Меньше знаешь – лучше спишь» (отец сказал матери после закрытого партийного собрания: «Любопытство – опасная штука», – ну, это он цену себе набивал, тогда уже можно было, хотя никто никогда не знал, можно ли уже об этом говорить или лучше подождать...). Одна лишь бабушка вечерами рассматривала бледную карту с лупой – она уже и читала с лупой, – рассматривала, покачивала головой, шептала мечтательно названия улиц, линий, рот и переулков. Там застыло никому не интересное, лишь для неё одной незабываемое, вечное волшебное Настоящее. Отец раздражался, прерывал бабушкины рассказы: «Да слышали мы уж сто раз ваши дворянские восторги, нет никаких дворян, не тронули вас – и скажите спасибо и... помалкивайте». Когда уж давно не было на свете бабушки и неожиданно наступили новые времена, мать понесла пробудившимся дворянским начальникам ветхие бумажки, тайно сберегавшиеся бабушкой, увидела поджатые губы «ассоциированной» дамы, внимательно рассматривающей рассыпающиеся документы – какого-то важного из них, по мнению высокомерной дамы, все-таки не хватало, услышала забытое, из какого-то Салтыкова-Щедрина, пренебрежительное слово «худородные», обиделась: «А вы сами-то, позвольте спросить, кто?» – вернулась домой, дрожа от злости, на издевательские расспросы отца запустила в него банкой со сметаной (не пожалела сметану-то, на противоположной стене долго еще были заметны жирные потеки). Отец увернулся со смехом (а если бы попала?), пошел на кухню ставить чайник, приговаривая восхищенно: «Ну чисто Настасья Филипповна». А слово «худородные» он запомнил и повторял в разных обидных вариантах: «худородных даже большевики не выселяли», «худородные космополиты еще будут мне указывать»...

Александра выдвинула все ящики письменного стола, вытряхнула их содержимое, села на пол среди бумажных сугробов и вдруг вспомнила: «Она сидела на полу и грудой писем разбирала». Как там дальше: «...и как остывшую золу»... На полу и сидела, как верно-то. Вечно сидят женщины на полу и разбирают старые письма. Привычное дело. Мужчины так не сидят. Трудно предствить, чтобы кто-нибудь из них вот так сидел и рассматривал каждый листок. Просто сгребают старые бумажки и выбрасывают на помойку. А куда еще – конечно, на помойку, туда, где заканчиваются все спиральи земного существования. А ей и не на чем больше сидеть. Кресла продала в прошлый раз, стулья развалились сами собой. Конверты тоже хранили время – круглые черные штампы, забытые номера домов, переименованные улицы, советские марки с лётчиками, учеными, трактористами. Примитивные картинки на конвертах. Веточка мимозы с желтыми пушистыми шариками – к восьмому марта, цветные гроздья салюта над кремлевскими башнями – к Дню Победы. Примитивные, а все-таки трогательные. Жаль, но надо выбросить. Формальные открыточки с дежурными одинаковыми словами. Выбирала только длинные настоящие письма. «И грустно так на них глядела». Ну, не совсем так. Грусть – такое мягкое слово. Другое чувство, более безнадежное. Как этот затхлый запах человеческого отсутствия.

Нежилой дух стоял в квартире. Иногда удавалось о нем забыть, но проникающий холод заставил встать, с трудом оттолкнулась от пола ладонями, напрягла

все мышцы, снова открыла шкаф – какие-то старые свитера, свалаявшиеся шарфы, изъеденные молью, слежавшееся бельё и серые простыни. Нашла старую куртку, накинула на плечи. Пошатываясь, словно после летаргического сна, подошла к окну.

Непонятное время года. Тонкое кружево черных ветвей на серо-голубом, уходящие вдаль черные стволы, мокрые крыши, провисшие провода роняют тяжелые капли. Знакомые башенки подсвечены розовым светом, из-за горизонта протянуло невидимый луч слабое солнце. С усилием, со скрипом повернула Александра заржавевшие ручки, открыла створку окна – ворвался пронзительный воздух, запах сгнивших водорослей с залива. Неужели уже весна? «Осень, странная поздняя осень», – заметит спокойный голос. А ты подойдешь и встанешь рядом: «Вот такая у нас теперь зима».

Страницы писем уже изменились: еще не пожелтели, но стали ломкими на сгибах, сухими на ощупь – процесс пошел, длинные органические волокна потеряли свою гибкость, электронные облака сдулись и оскудели, заскучали, перестали обмениваться электрончиками. «Эрго сум, – напомнило еще раз Время, тасуя колоду, – причем всюду, даже в таких пустяках». – «Но ведь и я... я тоже существую», – попыталась возразить Память. «О! Конечно, конечно», – снисходительно согласилась подруга и начала сдавать карты.

Нашла наконец то, что искала: аккуратно собранные еще давно, как будто ждали своего часа, семь конвертов с самолетиком, окружены красно-синими полосочками «авиа». Совсем тоненькая пачечка, семь писем со знакомыми буквами, написанными исчезнувшей рукой. На обратной стороне конвертов значилось: «Изготовлено на Пермской ф-ке Гознака. Министерство связи СССР, 1980; 03.01.80. Цена 7 коп. Художник В. Чмаров». Большие запасы этих конвертов, значит, были у Лиды, долго держались, когда уже СССР исчез. Начала читать, закрывала глаза, вспоминала, утирала слезы, решила отдать Николаю уж как есть, а себе все-таки сделать копию.

1

«...Дорогая моя, ну что без толку заламывать руки: не хочу я знать, кто живет в моей квартире и кому они её продали-перепродали – это не мой дом, успокойся и не ходи под моими окнами, не высматривай занавески, это даже не мой бывший дом – просто стены и потолок, довольно-таки низкий, – не такой низкий, как у тебя, конечно, но и не такой же роскошный – с алебастровыми грушами и виноградом, – как в детстве на Кирочной, а двери у нас вообще были ужасные, – думаю, однако, что двери они уж точно сменили на какие-нибудь дубовые, филенчатые или с витражами. Нет уж. Сердце моё не там, знать ничего не хочу, главное – Володенька в безопасности. А сердце моё с вами, дорогие мои. Знаю, что побуждения у тебя самые добрые, но обсуждать эту тему больше не желаю. Царствие Божие известно где... и Дом, по-видимому, там же.

Тётя Зина встретила нас замечательно, и хотя не было у меня сомнений по этому поводу, но когда я увидела её на вокзале, старенькую и трясущуюся, ищущую нас глазами, прижимающую к кружевной груди маленькие коричневые ручки, – так похожа на маму, ты себе представить не можешь, как она теперь похожа на маму, – подумалось вдруг, что именно Домой я вернулась, что мой истинный Дом сейчас откроется мне. И я заплакала, совершенно не стесняясь.

” Детки мои приехали, – повторяла тётя Зина, хватаясь за наши жуткие тюки и чемоданы, – деточки мои ненаглядные приехали!”

Я глянула на Николая, и показалось мне, что его глаза наполняются какой-то сумрачной влагой.

В Доме, как в детстве, были намыты полы, полосы вечернего солнца лежали на тряпочных цветных половичках, и пахло пирогами. "Всё, больше плакать не буду", – сказала я себе и отщелкнула замки нашего главного чемодана.

Вот так мы и зажили у тётки Зины.

Город, возможно, не самый привлекательный – просто большая, богатая, разросшаяся станица, – но виделся он мне из Петербурга сквозь украшающую его мерцающую дымку далекого детского лета.

В первый же вечер Николай взял меня за руку – это был такой забытый, такой юношеский жест, – и мы пошли в Город, куда глаза глядят, рассматривали каждый дом, заглядывали в окна, слушали уличных музыкантов, даже подавали нищим – как везде, много нищих, и, конечно, эти знакомые приметы – ларьки с яркой дребеденью: бутылки, сигареты, шоколадки, турецкие шмотки, меняют видеокассеты, «Эммануэль», «Орхидея», «Рэмбо». В бывшем Доме книги автосалон, стоят "мерседесы" – всё как у людей. Но мы почему-то не обращали внимания, как бы не видели, не раздражались. Бродили по незнакомым улицам до полной темноты, пока лиловые холмы, окружающие город, не превратились в черную извилистую гряду. Казалось – что ж, замедлим бег, поживем здесь, отдохнем от ударов северной столицы, успокоим сердце в неторопливом чтении, в трудах и размышлениях, остановим мгновение, хотя оно и не очень прекрасно. В центре мы обнаружили очаровательные особнячки с башенками, балконами, зеркальными окнами, увитыми плющом, волны осенних садов, террасы в осенних цветах, несколько церквей со свежими сияющими крестами, мрачноватый костел, старинный университет в чудесном парке – не такая уж провинция, есть даже органный зал, приезжают, судя по афишам, иноземные органисты.

Наш дом, однако, стоит на окраине, и это именно и хорошо, отделен от улицы глухим забором, высокими воротами с козырьком, калитка узкая, с глазком и тремя засовами. На окна тётка Зина совсем недавно поставила решетки, но не простые, а с каким-то растительным извилистым узором, стиль модерн, – уверяет, что это вполне красиво, но я этими решетками была потрясена поначалу более всего – теперь-то привыкли. За домом сад, в детстве он казался мне огромным, фантастическим, непроходимым, припоминается даже какой-то сводчатый грот с бьющим фонтанчиком внутри. Сейчас же это запущенные беспорядочные заросли одичавшей малины, ежевики и кизила, среди которых возвышаются серые скелеты засохших яблонь – срубить-то некому. Так что на Николая у нас большие надежды. Вообще Николай начал постепенно оживать, сбрил наконец свою случайную клочковатую бороду, перебирает и читает свои конспекты, вчера сам погладил брюки и ходил в университет, какие-то там получил обещания, и после ужина, напевая, чинил старый ламповый приёмник. Между прочим, приёмник, молчавший лет двадцать, теперь работает. Каждый раз, когда Николай что-то чинит, прибывает, завинчивает, тётка Зина ходит вокруг, задыхаясь от восторга: "Боже мой, мужчина в доме". За садом раньше был непроходимый овраг, ни один человек, мне казалось, не добирался до его дна, но там были такие тропиночки, такие площадочки, по которым мы пробирались от дома к дому, там происходили самые важные события, тайные встречи, обжигающие прикосновения, стремительный поцелуй и бег по склону вверх, где таились «секреты» замысловатых композиций; помнишь, как устраивался «секрет»: вырывалась ямка – очень хорошо получалось между корней дерева, – дно тщательно вычищалось и выстилалось листьями, мог подойти лоскуток ткани – бархата, например, – или серебряная бумажка от шоколадки, а затем на этом фоне выкладывались лучшие морские камешки, черепки синей чашки, сломанная брошка, цветные стеклышки, перепелиное яйцо, блестящие военные пуговицы, сухие ломкие цветы бессмертников – это уж ваша фантазия, наконец поверх всего помещался осколок прозрачного стекла, и всё это засыпалось песком, чтобы потом можно было приходиться, разрывать руками заветный холмик, протирать пальцем окошко в запорошенном стекле, любоваться и снова

засыпать. «Секрет» показывали только лучшей подруге или верному надежному другу. Так вот, теперь там возвышается бетонная стена, отделяя сад от буйного оврага и подмяв под собой все наши тропиночки, поцелуи и секреты. А поверх стены, можешь мне не верить, идет колючая проволока (идет ли по ней эл. ток, не знаю, врать не буду). Вся улица, оказывается, скинулась и выстроила эту бетонную стену. "Так все-таки спокойнее", – говорит тётя Зина. Кстати, тётя Зина до сих пор работает в своей библиотеке – можешь представить, какую она наработала там пенсию. На что будем жить мы, не представляю, пока тратим остатки валюты (с обменом нет проблем – на каждом углу менялы). Думаю, что в школу-то устроюсь – если не биологию, то английский, в этом здесь большая нужда: многие богатеи хотят детей образовывать, так что, может быть, буду просить тебя помочь мне со всякими пособиями, кассетами и т. д.; чем руки над нами ломать и слезы бессмысленные лить, будешь мне помогать. Лишь бы пришел в себя Николай, а там мы горы свернем...»

## 2

«Прости, моя дорогая, что не сразу тебе ответила, но не по лености, честное слово, а просто за день так устаю, что к ночи, когда наступает единственное время для разговора с тобой, нет уже сил ни физических, ни моральных.

Со школой пока ничего не получается: во-первых, середина учебного года, а во-вторых, никаких распростертых объятий навстречу мне нигде я не обнаруживала – наоборот, смотрели как на безумную – им самим не платят зарплату уже много месяцев, почему не уходят – отдельное социологическое исследование, выживают преимущественно всякими неправдами – в основном сдают помещения. И вот хождения мои все-таки принесли пользу. Одна из школ сдала спортзал и несколько классов охранному предприятию, и я теперь там по утрам убираю. Что это за охранное предприятие и кого они охраняют, понять невозможно – все помещения забиты коробками и ящиками, к которым прикасаться не велено (может, оружие?). Это место досталось мне по исключительному везению, а возможно, им нужна была именно такая, как я, – чужая, потому что жаждущих вокруг очень много, я каждое утро мимо таких прохожу – то есть не прохожу, а прорываю плотную колючую сеть завистливых взглядов учителей: мне ведь платят! Каждую неделю! А еще я убираю один маленький магазинчик, но уже вечером, после закрытия. И еще! У меня два частных урока английского с очень славными малышами – тётя Зина устроила. И хотя знаний моих на этих ребят достаточно, к урокам я готовлюсь необыкновенно тщательно – я ведь раньше с детьми никогда дела не имела, а дети – это такие особые люди, должна тебе признаться, я ими искренне увлечена. Только сейчас понимаю, как много я недодала Володеньке, как виновата перед ним (это только тебе я пишу эти слова, язык не повернется их выговорить Николаю). Когда Володька рос, я занята была своей дурацкой наукой, Николай всегда говорил: «Ваша наука – это клуб, у вас там в лаборатории происходит обычная клубная жизнь». Так что видишь, я уже готова признать, что это был такой образ жизни. "Наука как образ жизни" – хорошее название для статьи. Дарю тебе – ты ведь теперь социолог. Действительно, у нас было своё общество: все знали, кто чего стоит, гамбургский счет был очень строгий, ученые степени совершенно не имели значения, по всему миру велся счет, и если ты побеждал – пусть только семнадцать человек во всем мире по-настоящему могли это оценить – это была твоя истинная победа, тебя поздравляли, тобой восхищались, приглашали на конгрессы, заказывали доклады, а вокруг всего этого и поездки, и награды, и наряды, и беседы, и романы, конечно (какая-то *Элегия Массне* у меня получается). Так что Николай, возможно, был слегка прав, когда считал, что все эти статьи, доклады и симпозиумы в некотором роде побочный и необязательный продукт такого образа жизни и слабое его оправдание. Он-то был всегда одиночкой, себя и свою науку принимал всерьёз, слово «менеджер» в его устах звучало ругатель-

ством – сейчас же процветают те, кто варит околонуучную похлебку совместно с иностранцами. Николай всё это делать не желает. Можно им гордиться по этому поводу, но чаще получается злиться на него за полное неумение думать о своих близких и о жизни обывденной.

У нас стихла, наконец, непривычная осенняя жара, и близится зима. Здесь всего два времени года – лето и зима. Зима длится месяца два, не больше. Задули сухие ставропольские ветры. Ветер дует непрерывно три или шесть, или девять, а иногда и двенадцать дней подряд, потом наступает некоторое затишье – и снова вскипает пыльная буря. В такие дни к нам залетает – то есть в прямом смысле её заносит к нам ветер – одинокая подруга тётки Зины, словно высушенная этим ветром старушка, бывшая чтица областной филармонии Ксения Матвеевна. У неё странный вид депрессии: в ветреную погоду она не может быть одна.

Тётка Зина последнее время всё болеет – хроническое воспаление легких, артрит, диабет, печень, гипертония – всё сразу навалилось на неё после нашего приезда, а может быть, она просто расслабилась, почувствовала, что можно на кого-то переложить часть забот. Так что хозяйство теперь на мне, а ведь это не городская квартира: и топить печи надо самим, дрова припасены еще с августа. Готовить тётка Зина просит на плите, поскольку газ у нас привозной, в больших баллонах. Газ тётка Зина очень экономит. Электричество тоже стало чрезвычайно ненадежное, и ввечеру бродим по дому со свечами. Нашли и настроили керосиновую лампу, но керосин не всегда бывает в городе. Хуже, что внезапно вырубается телевизор, и если это случается во время «Вестей», тётка Зина топает ногами и чуть не плачет – давление поднимается моментально. Впрочем, давление у неё поднимается, если и не отключают электричество, а «Вести» и «Время» идут до конца, но при этом голос у диктора прерывается от волнения, а лицо меняется от экстренного сообщения по телефону. Кроме того, после передач у них начинаются ужасные споры с Николаем. Наша тётка Зина вовсе не бессловесная старушка, не замшелая пенсионерка, никаким коммунистическим бредням, вроде пресловутой колбасы за два двадцать, не подвержена, но и она заражена усталостью и злостью этого города (или не только этого) и вдруг начинает кричать на Николая: «Ну что твои реформаторы тебе дали, квартиру в Ленинграде отняли?» (она упорно не желает произносить Петербург, хотя когда Ленинград был Ленинградом, она бывало всё твердила, что восемь поколений наших предков похоронены именно в Петербурге). Николай бледнеет, задыхается, глаз его дергается. Меня они уже не слышат. «Это несчастный случай. Вы не смеете», – кричит он, отталкивая меня. «Ах, скажите, пожалуйста, несчастный случай. Что-то мне некоторые параллели на ум приходят. Знаешь, сколько таких большевиков я встречала в лагере. И каждый уверял, что вот с ним, только с ним произошел несчастный случай». Николай бессознательными скрюченными пальцами тянет скатерть на себя, сахарница опрокидывается на бок, высыпается песок, качается ваза с печеньем, горячий чай льётся ему на брюки, и он кричит уже от ожога, вскакивает, несется в нашу комнату, по дороге хлопнув дверью кухни так, что звенят стекла в буфете и долго еще трепещут жалкие бумажные салфетки на подоконнике. «Не знала, что твой муж такой идиот», – спокойно говорит тётка Зина и с медленным достоинством ковляется в свою спальню. Я остаюсь одна прибирать дымящееся поле битвы, мою посуду, вытираю пол, закладывая в печь растопку на завтрашнее утро, закрываю все двери, проверяю все засовы и когда доползаю, наконец, до кровати, с подушки поднимается всклокоченная голова Николая. «Старая дура, – шипит голова, – старая дура». Возможно, это относится и ко мне, но я не отвечаю, молча накручиваю дребезжащий будильник – мне вставать в шесть, главное – не сказать ни слова. «Это надо каменное сердце иметь, чтобы вонзить жало в самое больное, – он явно путается в метафорах, – ядовитое, злобное, каменное сердце. И ты такая же. Господи, на старости лет я живу с двумя каменными бабами». – «Но эти каменные бабы тебя кормят и за тобой подтирают», – очень хочется сказать, но

я молчу. Николай прыжком поворачивается ко мне спиной, накрывается с головой. По-видимому, в каждой семье должна быть только одна истеричка, и на эту роль назначен наш гениальный Коля, а я почему-то служу уборщицей и выгребаю грязь за своими охранниками после их ночных гуляний, а он бы не смог, с голоду бы умер – а не смог».

## 3

«Спасибо, что не забываешь меня, радость моя, когда увидела конверт в руках у тёти Зины, выхватила его с такой поспешностью, что оторопевшая тетушка высказала предположение о любовном происхождении письмеца и пообещала не говорить Николаю.

Ничего особенно радостного за это время не произошло. Николай изредка наведывается в университет, но каждый раз возвращается всё более угрюмый, и я не задаю никаких вопросов. Итак, всё ясно. Физика его никому здесь не нужна и математика тоже. Частные уроки он найти не может, потому что никому здесь не известен – учеников расхватывают местные преподаватели, даже давал объявление в газету, но позвонил только один сумасшедший, который хотел подучить физику, чтобы оформить несколько мировых открытий, и сгинул – Николай говорит, что по голосу ему не менее шестидесяти. Володька, паразит, не пишет и не звонит, один звонок был за всё время, правда, у нас очень долго был отключён телефон – перерубили кабель какие-то пришлые строители: строят неподалеку от нас фантастический замок, с флюгерами, бойницами, зубчатыми башнями и, конечно, с арочными окнами – какой «новый русский» не любит арочных окон. Выстроили уже целую улицу этих замков, являя населению разные стадии архитектурного безумия. Недавно проезжая в автобусе мимо такого домика, слышу за спиной разговор: «Ну ничего, когда *наши* придут, камня на камне не оставят». Оглянулась. Два парня студенческого вида. Похоже, кто такие *наши*, мальчики знают. Близость войны ощущается постоянно. Охраняют больницы, охраняют школы, на въезде в город образуются чудовищные пробки – проверяют каждый автомобиль, и всё равно оружие, кажется, есть у всех (кроме нас). На первой перемене прохожу мимо кучки малышей, один говорит другому: «Ты пистолет пока не продавай: я, может, возьму», – утешая себя соображением, что речь, по всей видимости, идет о водяном пистолете. Вчера вечером почти рядом с домом стреляли, били железным по железному и страшно кричали. Николай кинулся в сени, я с бульдожьей хваткой станичной жены повисла на нем, тётя Зина, однако, даже головы не повернула, лишь, уставясь в телевизор, произнесла: «Что вы всполошились? Ну постреливают у нас...» – и переменила позу. В критические минуты она любит поражать нас несвойственной её возрасту невозмутимостью, а возможно это просто лагерная закалка. Однако когда мы где-нибудь задерживаемся и возвращаемся домой после наступления темноты – вот недавно случайно попали на органнй концерт, – она с дергающимся личиком высказывает на крыльцо: «Где вас черти носят, неужели нельзя было заранее предупредить».

Мы живем очень уединённо, пребываем в раздраженном ожидании неизвестно чего, не можем примириться с мыслью, что это последнее наше пристанище и нигде нас больше не ждут, хуже того: давеча Николай произнес необъяснимую, но созвучную моим мыслям фразу: «Кажется, дорогая моя, мы попали в ловушку...». Дело в том, что тётя Зина, несмотря на ссоры и споры, искренне счастлива нашим присутствием и не перестает твердить: «Господь услышал мои молитвы, есть теперь кому меня похоронить – деток милых послал на утешение старости». Выходит, всё, что с нами произошло, – это для утешения старости тёти Зины. «Дом еще очень крепкий, и в нашем городе люди живут. Поживете, обвыкнетесь, с интеллигентными людьми познакомитесь». Но нет, не хотят познакомиться с нами интеллигентные люди этого города, где-то, видимо, они есть, но нет круга общения, и чужие мы здесь, да и тётя Зина чужая, но не хочет признаться ни себе, ни нам,

и никогда мы не стали бы своими, даже если бы приехали сюда в молодости. Так я чувствую. Нас окружают бывшие станичники, хуторяне, переселившиеся в город, замкнутые, недоверчивые, самоуверенные, косноязычные, не читавшие никаких книг, подозрительные, ненавидящие городских, не любящие животных. Вот ты у нас психолог, объясни, пожалуйста, как можно убивать поросенка, а потом есть его, если до того он жил в семье, был членом семьи, и какой след оставляют эти "домашние убийства" в отношениях между людьми. Не этот ли жуткий след проступает, как пятна крови на руках убийцы, в бесконечных историях, которые случаются на нашей окраине. Вот такой случай: сильно пьянствующий муж периодически избивает свою жену, но когда он поднял руку на малолетнюю дочь, жена проломила ему голову чугунным ухватом. Похоронили. Через некоторое время является свекор и душит её сорванной по дороге бельевой веревкой. Тоже похоронили. Осталось двое детей. Или еще. Мать не пускает дочь на дискотеку. Дочь бьет её столовым ножом прямо в селезёнку, перешагивает через упавшее тело, ранит вбежавшего отца, отправляется на дискотеку. И всё совершенно по соседству с нами, на нашей улице, – а то, что кого-то убили в Городе, похитили ребенка из детского сада, выбросили в одних носках из машины, а машину бесследно угнали, подожгли дом, изнасиловали – это мы слышим постоянно. Знаю, что жутких историй достаточно и у вас в Петербурге, но здесь, вблизи природы, на фоне её великолепия концентрация этих страшилок особенно велика, и сильно они пронзают сердце.

Прошу тебя, напиши поподробнее о Володеньке, ты знаешь, где его искать, не посчитай за труд – сходи к ней».

4

«...У нас выпал снег. Хорошо бы долежал до Нового года, но это вряд ли – уже тает, а если начнется ветер, то всю белизну засыпет пылью. Предновогодняя суэта уже началась в Городе, но мы в ней как бы не участвуем. Я не ищущу подарки – нет денег, нет настроения. Для тётки Зины у меня припрятан новый мамин плед, а для Николая надо бы найти крепкие ботинки, но цены дикие, в связи с чем вчера по большому благу я была проведена Ксенией Матвеевной в хранилище "second-hand" где-то за Центральным вокзалом. Пробирались мы туда по старым железнодорожным путям, перелезали через стоящие составы, в некоторых живут беженцы, висит бельё, хнычут дети. Оказались, наконец, перед огромным ангаром. Несколько раз обежали его, ища вход, пока не различили заветную дверцу в стене. Ксения Матвеевна прошелестела какой-то пароль, мы были впущены внутрь бомжеватым смотрителем и немедленно задохнулись в мощной волне жуткого запаха картофельной гнили. Бывшая овощебаза. Пол был, однако, тщательно подметён. В центре зала возвышалась невероятных размеров гора тусклого тряпья. Выл ветер. Поначалу ощущение полного безлюдья. Присмотревшись, замечаем на куче там и сям слабое шевеление – женщины в респираторах, на ногах полиэтиленовые пакеты, на руках нитяные перчатки. Сосредоточенно роют. Чем интенсивнее роют, тем глубже проваливаются внутрь, от некоторых видны одни макушки. Ксения Матвеевна протягивает мне старые перчатки. Мы тоже начинаем рыть. Ничего путного не попадается – все эти шмотки много раз перелопачены. Круговорот тряпья в природе. Однако все возбуждены предельно, охвачены идиотическим азартом, изредка из нутра кучи несутся вскрики разочарования и неприхотливая ругань. Идет междусобойный торг и обмен – летают над головой, взмахивая рукавами, свитера и кофты, пиджаки и блузки; игриво извиваются в воздухе юбки и шарфы. Слышим историю: на той неделе «одна» здесь вырыла норковую шубу, а любая вещь – любая! – стоит 5 (пять) тысяч. И еще история: старушка в кармане жамканого плаща нашла тыщу долларов, так что щупайте карманы – сигареты уж точно найдете. Но я нахожу одни лишь застиранные футболки. Появляются новенькие – две очень большие, громоздкие тётки, топчутся внизу, пытаются вползти на кучу, но соскальзывают и грустно начинают что-то ковырять сбоку. Мы велико-

душно сбрасываем им сверху нарытый большой размер. Рядом в довольно глубокой лунке сидит немолодая актриса, просит кидать ей яркое. Говорят, что под нами, на чудовищной глубине лежат нетронутые вещи. До этой глубины никто еще не докапывался. Усилим воли смиряю свой пыл и с большим трудом спускаюсь вниз. Мне нужна обувь. К счастью, гора обуви значительно меньше и ниже (но омерзительнее). И вот ведь какое везение: нахожу очень скоро почти новые ботинки – огромные, крепкие, на рифленой подошве, «ботинки американского полицейского», – уверяет Ксения Матвеевна. «Точно, они!» – подтверждает угрюмо смотритель этих несметных сокровищ, пересчитывая наши денежки. Я всё-таки и для себя нашла светлую блузочку с оторванными пуговицами, а Ксения Матвеевна ухватила такую обильную добычу: пестренький буклированный пиджак с отпоротой подкладкой, подходящего цвета юбка с дырой по шву и свитер ангорский бирюзового цвета с еле заметным следом от утюга, который она знает как вывести.

Обратный путь наш снова проходит мимо вагонов с беженцами, но теперь мне кажется, что на нас смотрят с явным недружелюбием, презрением и угрозой. Знают ли они, что в этом ангаре? Мелькает мысль: возможно, эти вещи для них, такая гуманитарная помощь, а распродают потихоньку своим. Чуть, конечно, но я чувствую их взгляды и едва сдерживаю шаг, чтобы не побежать. Ирреальный страх нападает на меня, я уже несусь, перескакивая через шпалы, Ксения Матвеевна не поспевает за мной. Мы ведь тоже беженцы. Откуда? И куда? Навстречу друг другу мчатся обезумевшие беженцы. А ты, родимая Птица-тройка, куда несешься, выпучив глаза? Дай ответ! Замогильным голосом отвечает: "Ждите ответа..."

Заставляю себя оглянуться. Боже мой, я бросила Ксению Матвеевну, её даже не видно. Поворачиваю назад и натываюсь на черную толстую старуху. Осторожно шаркая и тяжело переваливаясь, несет она трехлитровую банку молока.

– Что с тобой, доченька? Эдак ты собьешь меня, видишь – молоко несущую внучонку. Хорошее молоко, со станицы.

– Ничего, деточка, – говорит добрая старуха, обнимая свою банку, – в ту войну хуже было (она принимает меня за свою). Жить-то все равно надо.

Подходит рассерженная Ксения Матвеевна, крутит пальцем у виска.

Писала ли тебе, что ждем в гости Костеринных? Юра уже устроил себе командировку в здешний университет, хочет и для Светланы что-нибудь придумать – хотя бы дорогу оплатили. Билеты же снова подорожали. Хорошо бы они вместе прилетели – так грустно здесь без друзей. Прошлая жизнь кажется отсюда, из этого времени, невысказанным раем именно из-за общения (поневоле всплакнуешь и скажешь: роскошь!). Тяжелее всего, наверное, Николаю: ни с кем он не свел знакомства, единственный, кто прибил к нему, это такой неряшливый, маленький человечек – вечно пьян, всклокочен и робок, – как ни странно, доцент со здешней кафедры полупроводников, по уверению Николая, оригинальный и серьезный мыслитель. К нам он заходит не так уж часто, но уж сидит на кухне допоздна, смотрит на Николая влюбленно, дожидается, когда я уйду спать, и тогда уж они начинают оглушительно шептаться и сладостно выпивать. Зовут этого доцента Леонид Борисович, и я давно уже его тихо ненавижу, и он это чувствует: при звуке моего голоса пугается, вздрагивает, прячет руки в обвисшие карманы, хотя я ему улыбаюсь и улыбаюсь, и ставлю на стол закуски, и всячески их обхаживаю. Но Николай с ним пьет! Пьет и мрачнеет, потом угрожающе веселеет. Говорят они только о науке – о политике они не говорят. Гляну на Николая – чужой и безумный человек. На следующий день мучается похмельем, лежит, никуда не идет, раздраженно слоняется по дому, сидит, пьет медленно крепкий чай, упершись остановившимся взглядом в бетонную стену за окном. «Вот повешусь на этой стене. Какие крюки удобные. Так уж и быть, не буду вам дом пачкать».

Спасибо тебе – пришло письмо от Володеньки, но такое уж формальное – дальше некуда. Почему ты ни слова не написала о нем, как он выглядит на твой

сторонний взгляд, чем он занимается (про учебу уже и не спрашиваю), на что живет – из его письма ничего не понятно. Знаешь ли, ведь мы с Николаем почти не говорим о Володе, очень редко произносим его имя. Какой это ужас – тайные мысли близкого человека, как неостановимо нарастает наша чуждость, лежу с ним рядом иногда и просто коченею от тоски, от невозможности помочь ему и себе, от собственного бессилия хочется завывать. Прости, что пишу так – никому кроме тебя не жалею, дала себе слово хранить смайл, но натужный мой оптимизм истекает по капле. Кроме всего прочего, мне кажется, у тётки Зины был маленький инсульт. Недели две назад привезли её из библиотеки с помутившимся взором и заплетающимся языком, но очень скоро речь полностью восстановилась, а движения стали даже излишне быстры. С трудом удерживаю её дома – всё рвется в свою библиотеку, приют нищих, но взыскующих Слова. Это ведь единственное бесплатное место в городе, где всякий может лизнуть соль литературной художественности или вдоволь напиться газетной требухой, а главное, совершенно даром – свет, тепло и спокойствие, так что работа для тётки Зины служение и миссия. И у нас свои выгоды: мы первые читаем все толстые журналы, хотя в них так всё далеко от реальной жизни. Или, наоборот, ирреальна и призрачна наша жизнь, к которой невозможно привыкнуть, – и, тем не менее, привыкаем, как привыкли все к войне, заказным убийствам, несправедливостям, как привыкли все работать как бы задаром – в государственных учреждениях так и не платят зарплату, при этом сколько получают директора и близкие к ним – самая закрытая тайна. Пенсии тоже задерживают. Захожу на почту купить новогодние открытки, попадаю в толпу понурых старушек, почему-то стоят в очереди одни старушки, ждут: вдруг кто-нибудь придет отправлять деньги. «Вы отправлять?» – со слабой надеждой обращаются ко мне сморщенные личики.

Одним ухом слушаю утром передачу – беседа с представителем Президента (не помню уж, где) и одновременно Председателем какого-то Фонда (социально-го), плетет что-то давно пережеванное и неинтересное, речь убогая, плоская, примитивная, в каждом предложении употребляет сочетание «очень прекрасно», что уж у него там очень прекрасного – дома для престарелых, кажется. Но потом в прямом эфире ему задают вопросы. «Скажите, можно ли прожить на пенсию в 140 тысяч?» Герой передачи отвечает на вопрос полным ответом, ровным голосом: «На пенсию в 140 тысяч прожить нельзя», – но, подумав, все-таки добавляет: «Надеюсь, вам помогают дети или внуки». А мы вот такие плохие дети, ничем тете Зине помочь не можем, даже напротив – поедаем её еще советские запасы крупы и новые соленья, которые я уже, стыдно признаться, начинаю припрятывать от доцента-алкоголика – нужно же что-то оставить для новогоднего стола. Кстати, если надумаешь мне писать, можешь отправить письмо с Костеринными, вроде бы у них всё получается. Николай вчера разговаривал по телефону с Юркой. Почему-то он звонит ему как бы тайком, когда меня нет дома, – правда, я тебе тоже пишу преимущественно ночью, когда он спит.

Заранее поздравляю тебя с Новым годом, вот уж напишу тебе как-нибудь в другой раз что-нибудь более забавное, а ты, пожалуйста, со всей подробностью изобрази мне свою жизнь и что делается в институте: как я знаю от Светланы, ты работаешь два дня в неделю, а что остальные, кто как приспособился, кто получил гранты, кто слинял в богатые края? Считай, что я здесь в ссылке, и моё существование нужно разнообразить длинными, содержательными письмами».

5

«Дорогая моя, ты ангел, но зачем такие траты – ты просто сошла с ума. Спасибо тебе, ненаглядная моя, за чудесное письмо, поздравления и за эти роскошные новогодние подарки. Все-таки есть в России такая традиция – дружить, и это самая яркая радость нашей жизни.

Юрка со Светланой прятали твои подарки (как, впрочем, и свои) до самого Нового года и выложили твою огромную коробку под елочку, а елочка по высоте не более пятой части коробки, но зато настоящая, они её провезли под видом спального мешка, то есть обернутую в спальный мешок, через все кордоны и проверки. Надо сказать, что купить елку у нас под силу только крупным толстосумам – остальные довольствуются сосновыми ветками или так уж просто сидят безо всего, многим не до праздника – мальчики их в Чечне. Чечня ведь совсем рядом, и жители пугают друг друга близящимися террористическими актами к Новому году и православному Рождеству. Но мы встретили Новый год замечательно, получился просто грандиозный праздник. Во-первых, Юра со Светланой уже сами по себе праздник: они явились такие красивые, ослепительные, Светка в лайковом пальто немыслимой мягкости и красы, Юрка тоже, однако, в кожаной куртке, но не какой-нибудь простой и пошлой, а очень дорогой и элегантной, шведского разлива, что могут оценить, к сожалению, только редкие знатоки. Во-вторых, стол ломился сама знаешь от чего – от яств, тобой присланных, то есть от осетрины, сияющей единственной свежестью, ароматного слезоточивого к ней хрена, красной икры, маслин и грибов, от сбереженных мною маринадов и солений, от принесенных Ксенией Матвеевной пирогов типа расстегай-кулебяка, от вкуснейших салатов, приготовленных тётёй Зиной, от накрученных Светкой нежнейших тортов, а также от французского коньяка, который ловким, точным движением поставил в центр стола Леонид Борисович. Он пришел абсолютно трезвый, в чистом костюме, в светлой рубашке, с прямой спиной – дорогой коньяк сообщает человеку уверенность в себе. А я была в присланном тобой платье стройна, легкомысленна и практически неотразима, что накладывало тень разочарования на ухоженное личико Светки, которая, по-видимому, несла нам, изгнанникам, участие и поддержку и не знала теперь, куда эти дары пристроить или в какой момент их вообще уместно выложить. Николай был оживлен и даже болтлив, пел романсы, целовал ручки дамам. Леонид Борисович оказался неожиданным остроумцем, совершенно заморочил Светке голову историей случайного открытия Флемингом пенициллина в процессе отравления плесенью старой, надоевшей и больной жены. "Она уже совсем ослабела, когда он ей в кашу плесень начал подмешивать. И вдруг – о чудо! – стала здороветь, здороветь, румянец появился, совсем помолодела. Флеминг еще двух жен завёл, чтобы, значит, результаты сопоставлять... Так был открыт пенициллин". Потом Ксения Матвеевна, зардевшись, встала из-за стола, отодвинула стул жестом молодого Ленина (помнишь в торце университетского коридора висела картина: Ленин сдает экстерном государственный экзамен – куда она теперь подевалась, интересно) и сказала, что сейчас нам «почитает». Я внутренне вся задрожала: кто знает, как наши столичные гости отнесутся к такому культурному развлечению, не сочтут ли пренебрежительно за провинциальную самодеятельность. Но Ксения Матвеевна читала замечательно просто, спокойно, с мыслью – отрывки из "Темных аллей", из "Митиной любви", читала Чехова (перечти, кстати, рассказ "Супруга", там всё дело в двадцати пяти рублях, которые едва мелькают в середине, но зато гениально являются в конце). "Еще, пожалуйста", – просили все. Николай и Юрка сидели с такими хорошими, человеческими лицами. Однако "пили по-обыкновенному, то есть много". Наверное, от французского коньяка на меня напала такая сильная умиленность и любовь к ближним (тоже и к дальним), что страшным усилием сдерживала себя, чтобы не охватить всех за плечи и не пожелать каждому в отдельности и всем вместе чего-то хорошего, новогоднего, неопределенного, вроде "неба в алмазах". Таким образом, новогодняя ночь удалась, и если бы не последующие события (ах, если бы знать, если бы знать...), о которых сейчас писать не буду (вообще-то всё кончилось нормально), потому что хочу успеть отправить это письмо с Костеринными, если бы не волнения второго января, можно было бы посчитать, что Новый год явил нам светлое предзнаменование на будущее, намёк на перемену участи, побуждение к новым надеждам на

какие-то призрачные гранты, о которых мужчины шептались, выходя курить на холодную веранду. Надо сказать, что перед самым Новым годом Юра при содействии Л. Б. устраивал здесь в университете семинар о своей работе, совместной с Американским институтом физики. Из чистого и отвратительного пижонства на оповещающем плакате название доклада значилось на английском: "Spatial structure of electromagnetic field in FEL-amplifier", Юркины титулы далее, однако, шли на русском. Плакат этот вызвал у меня жуткое возмущение, поддержанное, но в мягкой манере, Леонидом Борисовичем: "Не надо нас унижать больше, чем мы уже унижены". Юрка же скривил свою толстую красивую морду и объяснил, что доклад он писал сразу на английском для международной конференции в Орландо и так вот до сих пор не удосужился перевести: "А что, разве здесь что-нибудь непонятно? Название же очень простое". В общем, плакат я лично переписала. Доклад его снискал большой успех, было много вопросов, и вполне по делу, но основная публика совершенно очаровалась рассказами Юрки о его путешествии по Штатам, слайдами Ниагарского водопада, нью-йоркской толпы и силуэтом самого докладчика на фоне пунцового заката над отрогами Большого каньона. После доклада Юрия Сергеевича окружила плотная толпа профессорско-преподавательских лиц – очень похожи на наших, но более как бы присыпанные пылью: с горящими глазами внимали его подробным поучениям, как оформлять программы и получать гранты. В конце своего пространного ликбеза он царственным взмахом руки передал сияющему Л. Б. какие-то анкеты и образцы программ, а также щедро раздал свои визитные карточки. Светлана, конечно, тоже присутствовала, и в таком дивном парижском костюме, что отдельные юные аспиранты пялились на неё не переставая. Помыслить невозможно, как она, такая восхитительная, живет на руинах нашего института среди лопнувших труб, заколоченных навсегда туалетов, неработающих лифтов – электричества-то нет, – как поднимается с фонариком в руке (это её рассказы) к себе в лабораторию на одиннадцатый этаж по абсолютно темной лестнице, усеянной ровным слоем кошачьих экскрементов, – кошки расплодились в темноте в невероятном количестве, главного кота-производителя кличут Савелий, что, по странности, совпадает с именем Генерального директора. Николай все время семинара сидел с непроницаемым, но думающим лицом – мне-то известно, что вся теоретическая основа Юркиных расчетов, да и сами расчеты, принадлежат Николаю, который и получил в конце доклада мимолетную благодарность, но в авторы включен не был. Да ладно уж, не будем жмотничать, "ничуть не жалко", – сказал Николай на моё бестактное упоминание этого факта, и я устыдилась. Всё-таки я люблю их, несмотря на их детское тщеславие, и ведь ради нас они сюда приехали – какая Юрке выгода делать доклад в занюханной провинции, когда его почитают в Париже, Токио и Орландо. Зависть, одна лишь зависть – лучше уж я сама признаюсь, чем ты ткнешь в меня пальцем. Так что не будем больше ронять слезы и достоинство. Жду твоих рассудительных замечаний по этому поводу.

Завтра выхожу на работу к своим охранникам, я теперь выполняю там некоторые секретарские обязанности. Они купили компьютер и впали в тихий столбняк, увидев, что я умею с ним обращаться (факт своего кандидатства по-прежнему скрываю). Набираю им договора и разобралась в бухгалтерской программе. Получила даже премию. Сунули какие-то денежки в конверте. Кланялась и благодарила».

## 6

«Пишу тебе вслед за предыдущим письмом, которое ушло с Костеринными. Причины этого отдельного письма невразумительны, но ты поймешь. Хотелось как бы остаться с тобой наедине и описать события второго января без лишних посторонних глаз. Конечно, вряд ли Светлана с Юркой будут распечатывать мое письмо к тебе. Хотела написать – до этого они еще не дошли. Но тут положила руку на сердце и признаюсь: совершенно не исключаю, ежели бы Юрка знал, что

в письме есть нечто для него важное, решающее или хотя бы просто любопытное, то и прочел бы, расклеил бы над паром и прочел. Без Светланы, конечно, – даже перед женой хочет человек выглядеть совершенной, чем есть. Хотя, ну какой это грех – читать чужие письма, когда можно хитрым таким способом заставить друга работать на себя и результаты этого труда использовать со столь очевидной прибылью. Ну да, ты права, я стала очень злая. Злость не рассасывается еще и потому, что все время их пребывания здесь я чувствовала слабый, едва заметный запах небрежного к себе отношения, а также их старания отделить, оттеснить, оттереть меня от Николая преувеличенным вниманием к нему и неумеренными восхвалениями его таланта. Просто неприличные потоки славословий бурлили вокруг него. "А нет ли здесь какого-либо подвоха?" – должна была бы подумать я и, придушив всё нарастающий новый комплекс уборщицы, ввязаться в жестокую схватку. Я же глупой обиженной курицей сидела на своем шестке. Однако, как писали раньше, "смутное беспокойство овладело мной".

Да, я обещала написать тебе про второе января. Отоспавшийся Юрий Сергеич жестом не то чтобы широким – скорее узким – пригласил нас с Николаем в ресторан, потом с неохотной вялой улыбкой позвал и Л. Б., поскольку последний от дома нашего не отходил. И вот мы, нарядные и всё еще новогодние, отправились выбирать лучший ресторан, и нашим гидом оказался очень даже пригодившийся в этих поисках Л. Б. В общем, очутились мы вскорости в темном респектабельном и пустынном зале овальной формы, площадью не менее велотрека, отдельные уютные точки которого были обозначены приземистыми пузатыми светильниками. Столик мы выбрали вдали от оркестрового возвышения, на котором утомленно двигались ленивые оркестранты, поглядывали на нас скептически, настраивали свои инструменты, потом все очень быстро куда-то сгнули – дожидаться настоящей публики, по-видимому.

Настоящая публика довольно медленно втекала в зал и представляла собой не перестающую меня удивлять, неизвестно откуда взявшуюся новую породу бритоголовых и пустоглазых молодых людей, которую мы, то есть "новые нищие", редко видим в столь опасной близи. Спутницы этих мутантов, однако, были чудо как хороши – длинные, колеблющиеся в музыкальных сумерках, изящные, как японские водоросли (и с той же сложностью мыслительной деятельности).

Еда, как и следовало ожидать, оказалась очень дорогой, невкусной и скудной; официант – расслаблен, небрежен, нескрываемо нагл. Беседа шла натужными толчками, и мальчики наши на этой чужой планете выглядели пожухлыми старичками. Одна лишь Светка, как молодая, отрешенно царила в собственном лунном сиянии, источаемом жемчужной кожей открытой шеи и обнаженных плеч. (Пове-ришь ли, только здесь я сообщила, что она сделала подтяжку.) Юрка, желая угодить дебилу-официанту, всю сленговал якобы в молодежной манере (иди-от!), рассматривая голубоватое глянцевое меню, огромное, но бледное, как контурная карта.

«О! Блин! Я балдею, шас оторвемся пиплы...» – (так бы и убила его). Словом, всё это выглядело крайне странно и нелепо. И вся затея, задуманная из побуждений благородных, для освобождения нас со Светланой от хлопотанья на кухне – ну и для выхода в свет, конечно, – мне не нравилась с самого начала. Не буду, однако, перебивать себя.

Вечер шел своим скучным чередом, Николай с Леонидом Борисовичем медленно наливались водкой, которую экономный Л. Б. запасливо пронес в старом вместительном портфеле, и в том же темпе разгоралась заря оживления на их лицах, нездоровое сверкание вспыхивало в глазах, а жесты приобрели естественный размах и нерасчетливость, так что кто-то из них чуть не смахнул со стола остатки юркиного коньяка в унылом ресторанном графинчике. Я едва успела подхватить раскачавшийся графинчик, закричала на Николая, кажется, даже стала отнимать

водку. Юрка ласково обнял меня, утащил танцевать, успокаивать. Он старомодно прижимал меня к себе, и мы плавно качались среди интенсивно трясущихся молодых тел. Потом мужчины сидели за нашим столиком обнявшись, склонив друг к другу головы, шептались, никого не замечая. Меня Светка повлекла в "Дамскую комнату" (так было написано на двери), поправила мне прическу, нагудрила лицо и вылила на меня щедрую каплю своих душных парижских духов. Трогательное внимание Костериных было мною с удивлением отмечено, несмотря на общую туманность послеконьячного состояния. Хотя некоторые провалы в моей памяти все-таки были. Совершенно не помню, как мы оказались в казино. Помню только, как спускались вниз по крутой затхлой лестнице, как обнимал меня за талию и поддерживал Юрка и канючила Светка, что хочет поиграть, потому что в Атлантик-сити выиграла 50 долларов.

Окончательно и моментально я пришла в себя только в эпицентре скандала, когда услышала дикие вопли Николая, который, с неимоверной для его щуплости силой, вырывался из объятий двух верзил в пятнистой форме и пинал, как безумный, своими тяжелыми американскими ботинками звонко дребезжащие ящики игровых автоматов. И тут со мной случилось необъяснимое – я словно переселилась в него, так остро я почувствовала его боль, – не поняла, а именно почувствовала всё, о чем мы никогда не говорили, всё, о чем молчали каждый в своем углу с тех пор, как Володька, пошатываясь, вошел в нашу квартиру, которая нашей в этот момент уже перестала быть, то есть не вошел, а был введен под руки крепкими парнями обыденного облика (но головы-то круглые, бритые), не прячущими свои лица под масками, с признаками каких-то даже манер: один из них случайно уронил с тумбочки перед зеркалом какие-то журналы, мой шарф и перчатки, вскрикнул "ой!", нагнулся и всё положил на место, другой, постарше, внимательно осмотрел нас с Николаем: "Значит, так, просили еще раз напомнить, чтобы без глупостей", – и, дойдя до двери, оглянулся и сказал загадочное: "Игровики – люди серьезные. В игрушки играть не будут. Ничего не поможет". И они ушли. Я впервые и только тебе рассказываю об этом. Что-то ужасное произошло тогда с нами: не знаю, как выглядела я, но отражение этого ужаса я впоследствии не раз видела в глазах Николая и в сером лице Володи, особенно когда заикалась о прокуроре и прочей судебно-государственной защите. Эти два пятнистых лба, которые скрутили на наших глазах Николая, ничуть не были похожи на мальчиков, доставивших Володеньку домой, но вместе с тем что-то общее, общеужасное было в них несомненно. Общее в них – привычка к насилию над другим, наш безумный страх и беспомощное отчаяние. И лица у них были похожи совершенной непримечательностью – лишь спокойное усердие и некоторая тень удовольствия от хорошо выполняемой работы. После того, как Николай укусил одного, они все-таки озверели, завели ему руки за спину, защелкнули деловито наручники и, толкая в спину, направили в узкий коридор за игровым залом, не обращая внимания на наши визги. Светка непрерывно и монотонно пищала, прижимая ладони к щекам. Юрка, пытаясь сохранить солидность, старался заглянуть в лица охранников, делал какие-то вразумляющие пассы правой рукой, а в левой держал на отлёте и как бы наготове красивый бумажник. Я же, перекинув сумку через плечо и через голову, чтобы освободить руки, цеплялась за пятнистые рукава и спины, пыталась дотянуться до Николая, металась, как могла, и непрерывно повторяла: «Отпустите его, он больной человек». Укушенный Николаем ощерился, гукнул на меня: "Уйди, ...(на бумаге не могу написать слово, произнесенное им), а то у меня и вторая пара есть", – и он похлопал себя по зазвеневшим на поясе наручникам. Второй резонно буркнул: "А кто здоров?" Леонид Борисович понуро замыкал процессию, прижимая к себе ворох наших верхних одежд. Так мы проволоклись через огромный холл, освещаемый нелепыми треножниками, вошли в просторный кабинет – мягкие диваны, кресла, два компьютера, пустые стеллажи, на низком столике не-

допитые рюмки. В центре, расставив уверенные ноги, руки в карманах, стоял человек, мрачный, высокий, с лицом крайне спортивного типа, но в хорошем костюме. "Ну вот что! Мы не в милиции, протокол составлять не будем. Но штраф ты заплатишь и еще посидишь у нас, отработаешь", – услышала я, молитвенно сжала ручки и завопила: "Это недоразумение. Он ничего такого не сделал. Он человек Ахметова!" – "Ахметова? – мрачный наморщил лоб. – Что же такой мозгляк может делать у Ахметова?" – "Он занимается ценными бумагами", – четко ответила я. "Вот как? Потрясающе, Ахметов интересуется ценными бумагами? Это ценная информация". И мрачный начал нажимать кнопки телефона.

"Счас! Ахмет, салам алейкум! Ты на месте?! Кому-то сильно везёт. Тут у меня твои люди. Какие?" Но я уже вырвала трубку и звонко залепетала: "Рустам Дамирович, извините, пожалуйста, такая история вышла, тут мы в казино попали в такое недоразумение. Я? Но я же у вас работаю (не могла я при всех сказать, что работаю уборщицей, этого даже Николай не знает). Да я же вам ставила бухгалтерскую программу на компьютер. Да, и Валентину вашу я учила, нашу Валентину, бухгалтера, и Андрея-длинного. Выручайте, уважаемый Рустам Дамирович, так неловко вас беспокоить в неурочный час, только зная ваше доброе сердце..." Важно было говорить быстро, не останавливаясь. Мрачный застыл, смотрел исподлобья пронзительно, что-то соображал, потом довольно грубо отобрал у меня телефон, махнул в нашу сторону небрежной рукой, типа "чтоб духу вашего не было". Укушенный неохотно отомкнул наручники: "То он больной, то какие-то ценные бумаги..." Николай нетвердым шагом двинулся в открытую дверь, не оглядываясь и потирая кисти рук (где-то я уже видела этот жест, не могу вспомнить...). "Такие вот, образно выражаясь, пироги", – сказал Юрка, открыл бумажник (я похолодела – неужели доллары) и вручил оторопевшему хозяину кабинета свою визитную карточку (на английском)».

## 7

«Дорогая! Ты, по-видимому, всё уже знаешь, и именно этим объясняется твоё долгое молчание. Но и мне поэтому легче писать тебе. Итак, Николай в Петербурге. Он уехал так внезапно, сразу же за Костеринными, просто след в след, что у меня явилось подозрение, не Юрка ли взял ему билет (у Николая денег не было), а скорее всего, Светлана, она, мне кажется, была даже более активным началом (т.е. более бездушным концом) в этой тайной возне. Могли бы ведь и вместе уехать, но боялись, видимо, воплей с моей стороны, мысли у них не было со мной обсудить, уговорить, убедить меня, оболыстить, в конце концов, надеждами и неземными горизонтами так, что сама бы отпустила, проводила, шанежки на дорогу испекла. И трудиться не стали. Я не могу это воспринимать иначе, как сговор за моей спиной, как гадкий обман и гнусное предательство. И жить он будет, оказывается, у них. Без меня во всех отношениях легче. Со мной всё-таки семья, а так – кинул тюфячок на кухне – Николай неприхотлив, да и работать он будет с утра до ночи, как работал всегда, а сейчас особенно, когда так изголодался. И работать он будет прежде всего на Юрку. Он и не возражал. «Ничего, мне тоже останется. Всё равно Юрка настоящий друг». Вот так! А мне, значит, настоящий враг. Или я ужасно, отвратительно несправедлива? Ответь мне! Эгоистично требую понимания, человеческого участия, душевной чуткости. Откуда бы им взяться. Какие времена – такие песни. "Идиотка, – следовало бы сказать себе, – ты должна радоваться". Но не получается у меня роль мудрой женщины. Пронзительная обида когтит сердце. Неужели нельзя было всё это сделать по-другому, посвятить меня в их грандиозные планы: Юрка, видите ли, становится директором филиала. "Какая ты поверхностная женщина. Ты требуешь слов", – говорил Николай в последние дни, увязывая свои бумаги. Но их, этих слов, необходимых мне, спасших бы всё, позволивших бы мне и дальше терпеть этот разваливающийся дом, унижение

примитивного труда, отсутствие достойного человеческого общения, жестокую болезнь тёти Зины – и, конечно, надеяться, просто надеяться на перемену грустной участи, теперь уже только моей, он так и не сказал. Единственно заверил меня, что постарается быть полезным Володеньке и еще – пришлет мне деньги, как только что-нибудь получит.

"Будет ли у нас с о в м е с т н а я жизнь?" – "Разумеется", – ответил, уткнувшись в свои мысли и бумаги, даже не взглянул, не подошел, не обнял, не погладил, не успокоил, не вытер мои бегущие слёзы. Р а з у м е е т с я. Боже, это прозвучало, как холодное в о з м о ж н о или, как перевела моя уязвленная душа с человеческого языка на страдательный, – м а л о в е р о я т н о.

Да, я знаю, что Юрка полгода преподавал в Беркли, а Вадим сидит давно в Германии, а Елисеев летает из Франции в Японию, не приземляясь в России. А Николай всего лишь едет в другой город – нет, не в другой, возвращается в наш город. И не зовёт меня с собой. То есть зовёт, но не так, как мне надо. Вернее, обещает позвать при определенных условиях. Мог бы позвать, не опасаясь, что я соглашусь, – всё равно я не смогла бы оставить тётю Зину. Может быть, потому и не зовет, как человек, ненавидящий всякое притворство и лицемерие. Ночами я лежу без сна среди шорохов кряхтящего старого дома и задаю темноте бесчисленные вопросы и сама же подсказываю малодушные ответы. Ах, в том ли дело, что разлука. Люди жили в разлуке годами, писали письма и трепетали, вскрывая конверт. И незачем ходить за возвышенными примерами к гениальным поэтам и прочим творцам. Мои родители были разлучены так долго, но никогда не прекращался между ними теплый, доверительный и нежный разговор. Мы с Николаем почти не расставались, но нити между нами всё рвутся и рвутся. Ни единого упрека он не высказал мне, но я постоянно ощущаю груз какой-то своей вины: то ли плохо воспитала Володьку, то ли вообще упустила всю ситуацию, то ли просто, не выдержав, уронила руки, единственно поддерживающие тяжкие своды над нашим давно уже чадающим очагом. Пишу тебе эти несколько строк уже три дня – всё больше неостановимо веду свой бесконечный внутренний монолог, который, перенесенный на бумагу, превратился бы в невразумительные жалобные восклицания и взывания неизвестно к кому.

Пишу тебе урывками еще и потому, что тётя Зина лежит дома. Через два дня после отбытия Николая с ней случился второй инсульт. Добрый ли ангел оберегал Николая и в связи с этим злые силы накинулись на нас, остающихся, стоящих на месте, глядящих ему в спину, а потом в бледное лицо за невымытым стеклом уже движущегося вагона, но он успел уехать в часы хорошего самочувствия тетушки. Интересно мне знать, как бы он уезжал два дня спустя, оставляя на руках у меня парализованную старуху, бросая меня в таком положении практически без денег, без еды – припасы-то полностью съедены. Думаю, что все равно бы уехал, но с чувством злобной вины, за что возненавидел бы меня непременно. Или остался бы, сдал билет, громко скрежеща зубами, топил бы печи, помогал бы мне ворочать тётю Зину, ходил бы с эмалированным бидоном за молоком, по вечерам разогревая свою ненависть в философских беседах со своим обожателем Л. Б. Так что то на то и выходит, иными словами: куда ни кинь – всюду клин. Получается, именно мне повезло, что он так удачно уехал, не дал мне окончательно убедиться на собственной шкуре в этой тривиальной истине: неприятны нам те, перед кем мы сильно виноваты. И когда он по приезде позвонил и признался, что доехал нормально и устроился у Юрки со Светланой блестяще, поскольку выделили ему отдельную комнату, то и я сообщила, что у нас всё нормально, как всегда, что тётя Зина полеживает, приходит Ксения Матвеевна помогать, Леонид Борисович скачет (я сделала паузу, – "А ты?" – все-таки спросил он), наколот дрова, вообще оказался отличным мужиком, настоящий товарищ. Информацию о Володьке выдал из себя Николай с ощутимым трудом: похоже, встреча их не была очень востор-

женной. "Может быть, ты мне все-таки напишешь, как вы все там живете, очень хочется каких-нибудь подробностей". – "Да я тебе уже все рассказал, писать ничего не осталось, много работаю, вот в субботу отсыпаюсь, по воскресеньям буду ходить в БАН – очень отстал". После его звонка я долго и уныло сидела над телефоном, сжав голову руками, в непреодолимом желании найти его письма, старые письма, которые писал он мне каждый день из стройотряда, увидеть там, на бумаге, слова любви, тоски и печали, обращенные ко мне. Может быть, я и тебе пишу, чтобы доказать, что в наше дикое время люди пишут друг другу письма, простые бумажные письма. И вспомнилось отчего-то, что в детские "секреты", под стеклышко, среди засохших цветочков помещались очень часто драгоценные любовные записочки или тайные загадывания и пожелания самим себе, которые потом почти никогда не доставались и не перечитывались, – "сквозь тщательно протертые стекла времени" мы лишь любовались ими, удостоверяться: они есть, вдохновлялись, неслись дальше, накручивая педали, в сильном потоке опьяняющего ветра, созданного собственным движением. Нет, я не стала читать его старые письма, которые привезла с собой, – достаточно, что посмотрела на темный простой ящичек, стоящий на верхней полке, вышла в кухню, наполнила водой огромный бак, опустила в него мощный кипятильник, вывалила на пол кучу грязного белья, чтобы рассортировать, отделить цветное от белого, и вот тут уже не выдержала, схватила рубашку Николая, клетчатую, расплзающуюся, почти лохматую, незабываемую, прижала к лицу неповторимый запах, завывала, как последняя идиотка. Не знаю, не могу объяснить, отчего не верю, что мы будем вместе. Ощущение невозвратности не оставляет меня.

Вечером пришла Ксения Матвеевна, принесла баночку маринованной свеклы и маленькую кость – сварили отличный борщ. Я напекла блинов. Еще осталось варенье из ревеня. Ужинали в большой комнате втроем. Тётя Зина благостно возвышалась на взбитых подушках, чистенькая, намытая, в наглаженных оборочках, улыбалась кривеньким ртом. Речь у неё сохранилась ясная. "Ничего, – говорила тётя Зина, поглаживая действующей рукой недействующую, – ты не переживай: удары, уж если они начались, идут один за другим. Дом продадите. Ксюша поможет. Купите квартиру в Ленинграде (о если бы она знала – т. е. хорошо, что не знает, – какие безумные цены), будете жить все вместе – добра наживать, меня вспоминать. Это долго не продлится. Уверю тебя, удары идут один за другим".

#### **ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ПО ВОЛНАМ ТВОЕЙ ПАМЯТИ**

Почему ты раньше-то не ушла, зачем терпела столько лет, для чего надо было ковриком им под ноги положить свою единственную жизнь, за что ты боролась, сглазная обиды, надо ли было верить утешениям матери: «А ты, Валечка, молчи, терпи, не думай, не растравляй себя – побегаешь и вернётся, а ты лучше рожай. Господь милостив, мальчик будет, сын». – «Да как? Он теперь в кабинете спит...» – «Найдешь способ, дочура, найдешь, пережди это времечко, потерпи, заманишь уж как-нибудь: мужики, они, знаешь, не очень друг от друга отличаются, хоть интеллигент, хоть шоферюга, – натура своё берет...»

Память обдаёт холодной жуткой волной. Чего стоило это терпение. В минуте от полета с Юркиного балкона. Тогда на Светкин день рождения Тина приехала из дому с цветами и подарками, а Павел заявился очень поздно, почему-то с Ольгой, весело и беззастенчиво, якобы с работы («...Вот с трудом уговорил девушку, у нас сегодня был гелий, не бросишь же... мы голодные, как черти, да, Оль?») Ну то, что они все были знакомы, не удивительно – все пока ещё трудились вместе в одном институте. Это можно было, сжав зубы, пропустить, не заметить. Хотя... зачем её сюда, в свою компанию, с какой стати? Но когда их девочка, пробегая из кухни в гостиную с каким-то блюдом (вот ведь вырастила белоручка Светка

трудолюбивую дочку), дружелюбно кивнула новой гостье: «Ой, тетя Оля, приветствую!» — стало всё понятно. Значит, он часто её сюда приводит. И даже дети знают. Выскочила на балкон. Никто почти и не заметил, один Юрка вскинулся: «Валюшка, ты куда это?» (Юрка, гад, быстро соображает.) Постояла, перегнувшись через перила, седьмой этаж, предстала, как будет лежать там тряпичной мокрой кучей — ведь не сразу и хватятся: шумят, смеются за кружевными занавесками, в яркой нарядной комнате, играет музыка, все у них хорошо, никто не страдает, все еще любят друг друга, и эта, почему-то в нарядном брючном костюме, стройная, молодая, — почему такая нарядная-то после целого дня работы с гелием, — нет уж, пусть он выйдет, будет её удерживать — не удержит, вырваться нетрудно, — вот тогда-то он закричит, все побегут вниз по лестнице, Лия сломает каблук или подвернет ногу, Юрка поедет на лифте, Сергей схватит телефон, бросит, зарычит и тоже помчится вниз, Светка завоюет тонким голосом, дочка их останется в гостиной, — бледная, застынет одна за столом. Павел вышел на балкон, вцепился железной хваткой в плечо, за локоть рванул на себя, развернул, двумя руками толкая в спину, направил к людям, к столу: «Не порть всем праздник. Сцены будешь дома устраивать, дома! Хорошо?» Посадил рядом с Сергеем, сам уселся напротив, посмотрел холодно и угрожающе, повернулся к Ольге, улыбнулся, схватил бутылку, плеснул себе. Сколько раз с ужасом вспоминала этот вечер. В какой невероятной близости была от небытия. Дети не удерживают от безумия. И ведь всё она знала — во всяком случае, догадывалась: доброжелатели не оставляли в полном неведении, намекали. И про Ольгу, и про других. Что, собственно, невозможно было стерпеть? А вот это унижение на глазах у всех. Их перемигивания за спиной, их смешки. Так казалось. Какие смешки? Глупости это всё — у всех свои проблемы, но это сейчас стало понятно, а тогда, да, было невыносимо, какие все предатели все-таки...

Он ведь не замечал её, совершенно не видел. Когда она сделала короткую стрижку, не обратил внимания. Не заметил. Андрей ахнул, восхитился: «Класс! Стала похожа на человека», — Настянисходительно одобрила, но некоторые сожалели, вот старуха, например, сказала: «Ну Валечка, зачем? Такие прекрасные волосы, а теперь... как-то стандартно». Павел посмотрел удивленно, ничего не понял: «А раньше что было?» Как говорится: в упор не видел. Потом где-то прочитала, что во многих семьях так. Ничего страшного. Законы психологии. Смешно читать в глянцевах журналах рекомендации бедным женам при первых признаках появления соперницы удивлять мужа новым соблазнительным бельем и вызывающими позами. Какое счастье, что всё это позади.

К матери бегала тайком. Не хотела задумываться, почему скрывала от Павла визиты к матери, в старую ненавистную халупу. Стеснялась. Да, стеснялась своей матери, не хотела показывать свою с ней связь. Мать всё чувствовала, не осуждала — и в гости к ним не рвалась: «Ну я понимаю, Валюша, чего уж там, не пойду я к ним больше, где сесть, чего сказать, как повернуться — не знаешь. Бог с ними. А ты живи, старайся угодить. Видишь, какая у меня дурная жизнь, пусть у тебя будет лучше... станешь им нужной, оценят...». Бедная мама, тоже угождала — то отчиму и его алкоголикам (пусть дома пьёт, подавала им разносолы, жалко улыбалась, заискивала, а что делать: молодой муж, глаз да глаз нужен), то соседям — дежурила за них в квартире, то участковому, от него тоже какая-то зависимость. Ну и директору столовой — это уж само собой, все ему служили, все были замазаны этой поручкой, а как иначе проживешь, как прокормишься, про десять заповедей — это вы не нам рассказывайте. Даже вот и фотографий её почти не осталось. Одна только, с остановившимися глазами, маленькая, на паспорт. Никому не понадобилась деревенская девочка Кланы — никто и не щелкнул, только ты к ней и бежала. А больше некуда — ни подруг, ни романов толковых не было. Вообще никаких романов не было, уж признавайся. Так, взгляды какие-то, еще в школе да на первом

курсе, а потом все. Не до романов стало. Однажды вечером (стыдно вспомнить), когда Нянечка еще ноги таскала и обещала с Настенькой посидеть, а Павел, как всегда, был в своих вечных бегах, принарядилась, накрутила ресницы, отправилась на танцы в «Мраморный» – отвратительное, по слухам, развратное место, презируемое университетскими. А пусть, посмотрю, что там. Стояла у стеночки, долго не танцевала, наблюдала за стайками простецких девчонок – и здесь уже была чужая, да и не хотела бы стать своей: фабричные, видно, девчонки, и мальчишки у них тоже свои, ей не нужные, – на неё они, впрочем, внимания и не обращали. Одиноких самцов, ищущих, с наглыми глазами, отшивала сама – они исчезали, не настаивали. Потом появился какой-то курсантик, чинно прошлись в танго с застывшими лицами – неплохо у него получалось, учат их там, видно, в училище, но потные ладони довольно противные были, подергались в полузапрещенном «быстром танце» – ловко он выбрасывал в стороны ноги и локти, нормальное мальчишеское оживление засветилось на личике, присмотрелась: да подросток, чисто подросток. Пошли гулять, почему-то оказались на Петроградской, неловко держал её под руку, пытался затащить в какую-то парадную, холодные мокрые губы, звал к другу в гости, бежала от него сломя голову. Тихо проскользнула в квартиру. Все уже спали. Не зажигая света, выпила на кухне холодной воды. Павел еще не вернулся. Откуда? Перестала давно задавать себе такие вопросы. Закрылась у себя в комнате – собственно, это была комната Павла, но он давно переместился в бывший кабинет деда. А теперь они тут с Настенькой... Быстро разделась, зуб на зуб не попадал – такой странный озноб. Попытка измены. С негодными средствами. Не выйдет из тебя грешницы: на всё требуется умение, не получается у тебя грешить, сиди уж в своем углу. Обхохочешься. Даже матери не рассказала. Так что продолжала угождать. Рефлекторно. Не умела по-другому. Бесплатная домработница, прачка, даже и кухарка, когда Паня в очередной раз взбрыкивала. Так ведь и не нравилась им твоя стряпня, гости всегда хвалили, а домашние – нет, помалкивали, но видно было: что-то не так. И хозяйкой не называли. Никому и в голову не пришло бы назвать тебя молодой хозяйкой. Даже водопроводчикам. «Иди зови хозяйку, пусть работу принимает». Марина Сергеевна всегда отмахивалась: «Ну, не знаю... сами смотрите, я же не понимаю ничего...». Приходила Паня, недовольная, сосредоточенная, руки вытирала о передник, важно открывала и закрывала краны, слушала, как течет вода в ванне: «Чёй-то она медленно уходит, и тут вроде каплет». «Это у тебя кое-где каплет, – возмущался водопроводчик, – сила есть – ума не надо, вона! давить не надо, понятно...». Они говорили на одном языке. Такая у них была речь. Удивительные правила наблюдались в беседах простых людей (слово «простые» Марина Сергеевна не любила: «а вы какие?», она была народница – правда, идейная, а в жизни общаться с водопроводчиками избегала): в любых переговорах необходимо было выказывать постоянно легкое неуважение к партнеру. Кто кого больше не уважает, тот и победил. Не зря в минуты опрометчивого алкоголического доверия, когда мечта о невозможном особенно сильна, самый интимный русский вопрос: «Ты меня уважаешь?» Два других всем известных вопроса – не интимные, тем более ответ на них у каждого есть, давно продуманный, из глубины сердца (Чё делать? Работать надо, вот что, надо работать, то-то ты из сил выбиваешься, валить надо, щщщас! куда валить? вы чё? Россия на подъеме, жизнь только начинается.... Немного разные ответы, но зато по поводу «кто виноват» ответы всегда – ну, почти всегда – совпадают, с небольшими вариациями. Потому их в честных доверительных беседах и не задают.) А на интимный вопрос нужно отвечать сразу – пылко, страстно, со слезой. Чуть помедлишь с ответом, и беседа может плохо кончиться. Тина так разговаривать не умела, не усвоила манеру неуважительного, хамского отношения к ближнему, а равнодушного «постнароднического снобизма», как выражался Павел, тоже не обрела.

На кухне Паня её откровенно не терпела, вообще никого не допускала на свою территорию: чистила, драила, мыла, пыхла в шипящих парах, бурчала и покрикивала: «А ну убирай-ка отсель свои склянки», – и приходилось, заливаясь слезами, прижимать к груди детское питание и нести выскальзывающие баночки к себе в комнату. Жаловаться и не пыталась, то есть однажды попробовала – Павел скривился, как от кислого яблока, Марина Сергеевна посмотрела на неё с ужасом: все боялись Паню чем-нибудь раздражить. Тоже зависимость, поважнее прочих. У всех разные диеты. Еще и дед был жив. Отвары ему, противный капустный сок, таинственный чайный гриб, не такой, как у всех, – «наговоренный» Паниной бабкой, все смеялись (ученые же естественных наук), а дед ничего другого пить не мог. Когда Нянечка слегла, пришлось и за ней ухаживать. Они благородные – в дом престарелых ни за что бы не отдали, а кто судно-то выносил – Марина Сергеевна, что ли? или Паня? Нет-нет, негигиенично, как можно, она же на кухне целый день, крутит котлеты, трет овощи, шинкует, пассерует, процеживает, взбивает, отжимает, прокручивает, фрикадельки лепит, биточки на пару...

Тина слышит приближающиеся шаги, начинает бестолково метаться, быстро распахивает дверцу шкафа, чтобы не видно было раскрытого чемодана, падает на кровать, охватывает голову руками, смотрит в потолок.

Настя застывает на пороге:

– Что происходит?

Нет ответа. Настя подозрительно обводит глазами комнату. Разбросанные вещи. Свисающая со стульев одежда. Развороченная стопка постельного белья. Ну, мало ли, что мне надо было найти. Пусть смотрит. Небольшой беспорядок. Чемодан она не должна увидеть.

– Чем ты тут занимаешься?

– Оставь меня, пожалуйста...

– Старуха спрашивает, где её минеральная вода.

Тина с привычным злорадством отмечает, что Настя давно не называет Марину Сергеевну бабушкой. Когда это началось? В детстве называла, обнимала, любила и вдруг – только старуха. Чужая упрямая старуха. А ведь было время, Марина Сергеевна старалась, уж как могла, уделяла внимание, читала перед сном Чуковского, выразительно, настоящим актерским голосом – занималась в молодости, оказывается, в театральной студии, водила за ручку в какие-то кружки в Эрмитаж и в Дом ученых, хвасталась там красивой внучкой, гардеробщицы подобострастно ахали: принцесса, настоящая принцесса. (Вторую бабушку с её фрикативным «г» Тина и сама старалась не подпускать – хватило первого семейного обеда после условной свадьбы. Первая встреча родителей молодых. Страшный унижительный ужас: мать протянула руку вялой дощечкой, представилась деревенским именем, без отчества, отчим мрачно вцепился в коньяк, невиданный в их джунглях напиток, – и мы, мол, не лыком шиты, быстро запел про дикие степи Забайкалья.) А вот нынче вся внучкина любовь пропала. Началось всё с квартирных притязаний. Ужасная пошлость в благородном семействе. Марина Сергеевна занимает две огромные, лучшие комнаты. Да, Настя, наверное, не права. Но без меня теперь будете решать, без меня.

Тина взрывается:

– Я не знаю, где её минеральная вода, и не собираюсь знать... и впредь... По-настоящему? У меня голова раскалывается.

– Надо давление померить...

– Нормальное у меня давление – у меня жизнь ненормальная... Могу я просто полежать в тишине? Оставьте меня в покое.

Настя смотрит внимательно. Поднимает брови. Пожимает плечами.

– Иди к себе, пожалуйста. И дверь закрой. Закрой дверь. Меня нет. Считаю, что я померла. Вам же наплевать, вам и на Андрюшу, и на меня наплевать...

На лице у Насти написано ироничное «хм, ну-ну, и что дальше?». Легкомысленное, неуважительное лицо. Уходит, покачивая головой, дверь демонстративно прикрывает очень тихо, со значением. Что она хочет этим сказать-то? Что не верит в резкие движения и обиды матери. Мол, куда она денется.

Тина некоторое время сидит на кровати, успокаивает взбаламученный ток крови, медленно встает, подходит к двери, поворачивает рычажок – теперь никто уже не заглянет неожиданно. Читайте, что меня нет.

Как, оказывается, мало её собственных вещей в этом доме: только одежда, немного фотографий в черных бумажных пакетах. Тяжелые плюшевые альбомы, которые принесла от отчима после смерти матери, Марина Сергеевна выбросила – «только пыль собирают», а фотографии вынула и сложила в пакеты. Случайные подарки по случайным поводам, большей частью лично ей не нужные. Павел всегда дарил что-нибудь полезное для общего пользования, общехозяйственное, – совсем никаких его подарков не помнит, цветы, наверное все-таки были, на дни рождения и на Восьмое марта в общем венке букетов, привозил иногда из загородных поездок кое-что – сапоги, например, постоянно промахивался с размером. А вот пластмассовые украшения и нитка поддельного жемчуга от отчима почему-то сохранились. Из-за этих его тайных подарков пришлось жить в общежитии. Золото, оставшееся от матери, почти всё ушло Андрею в его трудную минуту (в тайне от прочих) – много было трудных минут у бедного мальчика. Ничего, теперь они будут вместе. Не будет навязываться, нет-нет, ни в коем случае – просто будет помогать. Коля, святой человек, обещал и на работу устроить, одно слово – ангел. Всё! Забыли наши прошлые специальности. Что скажут, то и будет делать: готовить она умеет, это вы зря, Марина Сергеевна: котлетки мои не хуже Паниных, умелые, аккуратные кухарки теперь снова нужны, на частной фирме не должны сотрудники отвлекаться на еду, все понятно, а молодые-то девочки в кухарки не идут – они больше делопроизводят что-то и ножками внимание клиентов привлекают. Что ли, Настя в своей рекламной фирме использует уравнение Шредингера? Да уж, девчонки в кухарки не пойдут, да и не умеют они. Кухарка – это как раз для её возраста. Вздрогнула. Словно взгляд матери почувствовала. От судьбы, видно, не уйдешь. Долго бежала, бежала, сама поверила, что убежала навсегда, – а вот и вернулась к материнской планиде. Не получился собственный теплый дом: вырвалась из ненавистой коммунальной слободки, а в хоромы-то и не пустили. А какой ценой вырвалась. Нечеловеческое усердие: в десятом классе над учебниками ночами сидела, воля сильная – только голова слабая и здоровье... Низкий гемоглобин, низжайший. «Такого я еще не видела», – сказала участковая врачиха и укоризненно посмотрела на мать. Но зато – золотая медаль. Для чего всё это было? Мать гордилась, уважала, но... сквозило в этом уважении что-то такое... пренебрежительное. Этот пренебрежительный взгляд она и у других замечала. Словно давали ей понять: да ладно уж, как ни старайся, а не по-настоящему ты здесь, вся твоя жизнь понарошку, неинтересно тебе все это, зачем так надрываешься-то, не читай ты эти книжки, зачем они тебе, голову сломаешь, ну скажи на милость, зачем тебе эти уравнения – ни к чему они тебе, и не ходи ты в эту Филармонию, что ты выживаешь там – скучно же, ну, в театры, в Дом кино на просмотры (Марина Сергеевна приносила билеты, контрамарки, старалась её развивать, видимо) – еще туда-сюда, делай вот что-нибудь полезное: присматривай, как Паня готовит, поучись у неё соусы делать и капустные пироги хорошо бы освоить, или вот окна вымыть: смотри, как красиво сияют стекла, или посадить что-нибудь, потом прополоть, взрыхлить, собрать, засолить огурцы, перцы красные, грибы – ты

их, кстати, лучше всех видишь и ягоды быстрее всех собираешь, никто с тобой сравниться не мог, еще маринады у тебя отличные получаются, все говорят, даже Пана признавала.

Ну и прекрасно, буду теперь обеды готовить для чужих вежливых людей, кофе им варить после обеда, подавать да угождать и улыбаться. И сама буду сыта, и платить обещают нормальную зарплату, Коля твердо говорил: свои ребята, абсолютно честные, не обманут, совместное предприятие, делают уникальные медицинские приборы ручной старательной сборки с единственным в мире программным управлением. Нормальная зарплата, вам и не снилось, в ваших научных лабораториях, и не надо ошметки кофейные сушить, не надо никого обманывать, а вечером возвращаться будет она в Колину квартиру. Конечно, надо в его сарае поработать, переклеить обои, покрасить потолки, батареи и окна – руки пока еще из правильного места растут. Жил ведь как на вокзале. Даже шкафа у него не было – вещи в чемоданах хранил, свитера комками запихивал, один приличный костюм висел на гвоздике под полиэтиленом, рубашки по одной носил в срочную прачечную напротив – там его знали, девушка из прачечной неожиданно двадцать третьего февраля галстук подарила, в цвет выдаваемой рубашке, – перепугался до смерти, галстук взял – как не взять, она ведь старалась, подбирала по цвету – но задумался: не купить ли стиральную машину? Кое-кому рассказал про галстук, в голосе слышалось изумление и даже хвостовство, стал немного оживать после Лидиной смерти. Долго в прачечную не ходил, как перебивался – непонятно, а когда решился и пришел, девушка эта уволилась, постеснялся спросить, кто такая, как зовут. «Ну ты и бестолочь, – сказал Юрка. – Девушка хоть симпатичная?» Даже постельного белья человеческого не завел. Ужас какой-то. «Делай что хочешь, – сказал, – и не надо мне ничего, только за квартиру плати в срок и следи, чтобы соседей не залить, а то убьют меня, точно, они уже в прошлый раз обещали». Ну не ангел ли? Неужели, чтобы стать ангелом, человек должен так настрадаться, – правда, он и раньше добрый был, очень, а Лида через его доброту, однако, тоже настрадалась: всё раздавал, всё из дома – ничего в дом, вечно у них гостили какие-то его провинциальные аспиранты. И Лида всех кормила, пока еда в городе не кончилась (кто-то уверял, что видел в газете объявление: «Куплю 400 грамм еды. Цена договорная», – шутка такая, но...). Бедная Лида. Как трудно людям жить друг с другом. Даже и с любовью. А уж без любви – лучше сразу в петлю. А ничего и подобного. Живут как миленькие. Очень даже многие. Практически – все.

Одежды немного совсем. Не в чем на люди выйти. И не хотела раньше выходить. А ведь теперь придётся. Там даже у плиты в халате фланелевом не встанешь. Как-то надо поприличнее выглядеть. Нелепые обвисшие кофты и свитера, на брюках непоправимо вытянуты колени, блузки с вытертыми манжетами, все старое, застиранное, в окатышах. Обувь? Даже в мусоропровод нести на выброс лучше всего ночью. Надо было Настю слушать, она со своим дресс-кодом в этом деле разбирается – жаль, что сейчас она уже не советница. Ни разу не советница, как сказала бы Иринка. Объявят сумасшедшей, еще и закроют, запретят. Ну это уж фиг вам. Вот пришло время разобрать многолетнее барахло, взять только самое необходимое. Остальное пусть они выбрасывают. Или уж потом как-нибудь. Зайду. Пустят, должно быть. Не отберут же они у меня ключи, в самом деле. Ни с кем я не ссорилась, с Павлом отдельный разговор – предал мальчишка, бедного моего, несите сами, мол, свой крест, это ваши проблемы – так теперь все говорят. Чемодан такой убогий, зато вместительный. Новый, на колёсиках, не хотелось доставать с антресолей, раньше времени себя обнаруживать. Главная опасность – Настя. Да расписание её нам известно.

Стук в дверь, осторожный.

– Ну кто там? Настя, я же просила, кажется...

Невнятное царапанье. Милый голосок.

– Тин-Тин, открой, это я. Она с Сонькой за минералкой ушла. Мне нужно с тобой поговорить, срочно, пока этой нет ...

Иринка не называет мать иначе чем «она» или «эта». Печально, но ничего не поделаешь: не прощает девочка именно Насте развод с преуспевающим американским папой. Далекий, хороший папа, присылает иногда джинсы, арахисовую замазку, неприличного цвета, но вкусную, всякую чепуху: сумочки, маечки, бусики, кроссовки (сникерсы он их почему-то называет), этих сокровищ и здесь давно полно (они там, в Силиконовой долине, остались вот именно, что в прошлом веке), а главное – ничего не требует, не запрещает ногти красить черным лаком с блестками. Такой замечательный. А то что папа оставил их в самые тяжелые годы, в прямом смысле голодные годы, а сам полетел спасаться, как объяснишь ребенку. Тина ничего и не объясняет и ничего не требует. У каждого своя роль. Это, кажется, её самая лучшая роль в жизни. Она протягивает руки к девочке.

Иринка держит её руки, таращит огромные серые глазки, изумленно оглядывает непривычный беспорядок и распахнутый шкаф.

– А ты чё тут всё разворотила? Ты едешь куда?

– Да, вот уезжаю...

– Надолго?

– Ты секреты хранить умеешь?

– Могила!

– Насовсем.

– О! Только не это.

Тина понимает, что это фраза не простая, из какого-то культового (словечко-то откуда взялось? не было его раньше) фильма. Дети так нынче разговаривают. Готовыми словечками и гримасами. И взрослые туда же – за ними тянутся, все хотят быть молодыми, бедняжки.

Иринка еще сильнее выпучивает глазки, трясет восхищенно головой: «Ну, ты даешь!» – кидается Тине на шею (какая тяжеленная), в головах у них мелькают одновременно очень похожие соблазнительные картинки, и они начинают хохотать, кружиться по комнате. И падают, обнявшись, на развороченную постель.

– О, Тин-Тин, ты замыслила побег! О нет! Только не это! И я с тобой!

– Тише ты! Ты обещала. И вообще, мне твоя помощь понадобится...

– Всё. Поняла. А где? А куда? (Спохватывается.) Ой, мне как раз тоже нужна твоя помощь. Мы с Деном хотим на дачу к Чугуну уехать, на три дня, когда каникулы, все уже деньги собирают, но ведь она меня не пустит. Она за мою невинность дрожит, ненормальная...

– Ну, деточка, как так можно. Мама права. Последствия же могут быть... Короче, я тоже не рекомендую. Ты уже должна понимать...

– Чё тут понимать-то. Слово какое противное. Не-вин-ность. Да это ж все условно так. Какие в наше время последствия?! Нам все на уроках рассказывают. Это в ваше время были все эти проблемы, страшно представить, не понимаю, как вы жили... Ты что, не знаешь? Таблетка же!

Тина на мгновение столбенеет, ужасается, проглатывает язык, но берет себя в руки и осторожно интересуется:

– То есть?... Как это – таблетка? Какая таблетка? Это же только врач может прописать... И вообще, в твоём возрасте вредно таблетку принимать...

– Я тебя умоляю, Тин-тин, давай не будем про детали. Не уподобляйся ты этой...

– Но я же думаю о тебе, я не знаю, какие сейчас таблетки, какая теперь... ну, как её?

- Контрацепция, да?
- Да, вот именно, но все таблетки – они гормональные, мне бы не хотелось, чтобы ты... но вот еще что... таблетка таблеткой, но есть еще и психология...
- О, не грузи меня. Скажи еще: надо школу закончить, в институт поступить...
- Но ведь это нормально, мама о твоём будущем думает, ну и я...
- Мы всё понимаем, всё понимаем, не волнуйся. Никакая таблетка мне в ближайшее время не потребуется. Ден – знаешь, какой... умный... он сказал, что надо владеть собой, а прекрасней меня никого на свете нет. Вот!

Звук входной двери. Сонечкино веселое лепетанье, Настин сердитый голос. Иринка неслышно выскальзывает за дверь, успевает послать тысячу воздушных поцелуев и прошептать: «Я тебя лю...».

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ПРОГУЛКИ ВДОЛЬ ЛИНИЙ

Поздним вечером Александра попыталась записать события прошедших дней: зачем-то хотелось запомнить, унести с собой чужой, изменившийся мир, разговоры постаревших друзей, которых постепенно и неотвратимо этот мир из себя выталкивает, дикий язык нового поколения, не то чтобы такой уж непонятный, но какой-то в высшей степени однообразный и бедный, а если честно – жлобский на старомодный питерский вкус, хотя порой все-таки забавный и выразительный. Перебирала, посмеиваясь, сорванные в разных местах загадочные объявления. «Продаю 30 квадратов, цена вопроса... (что тут загадочного? так они выражаются). А «натри себе всё»? Ну... это... да, странно, но если напрячься, можно сообразить: это такая лотерея, номер стирается монеткой; рекламные соблазнительные призы-вы: «Элитные девушки – очень дешево» (вставляю в рамочку и подарю кому-нибудь), а вот еще: «Пейте наши соки» (мазохисты призывают вампиров, что ли?). Вела дневничок, записывала на всякий случай, для себя или редких новых друзей на чужбине... нет, конечно же, для себя – в чем-то хотелось разобраться, понять, откуда идет неуловимый, но явный запах тревоги, агрессии, равнодушия и хамства, всюду – в метро, в маршрутках, в любых присутственных местах. «О, как ты не права, – слышит голос Павла, – ты замечаешь только то, что хочешь заметить, ищешь себе оправдания, посмотри, какая отличная еда, какое прекрасное вино, какие милые девочки и мальчики нас обслуживают, не будь снобкой, будь проще, и люди к тебе потянутся...» Александра тихонько смеётся, вспоминает столетнюю даму в шляпке, застывшую перед входом в испанский ресторанчик, откуда они с Павлом только что вышли на сияющий огнями Невский. Мимо дамы просквозили, пробежали, чуть не сбив её с ног, два молодых человека, непринужденно и громко болтающие на веселом матерном языке, скрылись за вращающейся дверью ресторана. «Ё-моё, и это мой Петербург!» – вскричала дама в сторону удалившихся спин и глазами призвала Павла в свидетели. Букетик на шляпке гневно задрожал. Павел остановился, закивал головой и серьезно, без тени улыбки, поддержал: «Вы правы! О, как вы совершенно правы...».

Шаркающие шаги в коридоре. По ночам тетка бродила по квартире, пыталась замотать, изнурить свою бессонницу. Заглянула: «Ты не спишь? Вижу – свет горит...» – позвала пить чай – в два часа ночи. Здесь все ведут почему-то оживленную ночную жизнь: болтают по телефону, ходят в гости, гуляют с собаками, когда спят – непонятно. Пришлось идти, сидеть на кухне при включенном пошлейшем ночном телевизоре, а попросить выключить было неловко (это был такой фон – на экран никто и не смотрел, хорошо хоть – звук был слабый), слушать бесконечные жалобы на корыстных врачей, поддельные лекарства и непрерывно растущие цены.

Утром, торопливо выпив кофе, Александра вышла на Большой проспект – образовался свободный день, захотелось пройтись по детским адресам, посмотреть на свою школу, которая давно перестала быть школой, дойти до старого дома, где когда-то они жили в большой коммунальной квартире. Бездельной походкой прошла мимо Андреевского рынка, купила на углу оппозиционную газетку, с изумлением узнала от приветливой женщины, случившейся рядом (вот прелесть родного языка – можно разговориться с любым прохожим), что газетка принадлежит какому-то олигарху («Ничего не поймешь: этих сажают, а эти рулят, как ни в чем не бывало»), пошла вдоль проспекта, разглядывая людей и витрины. От Большого проспекта свернула на свою линию. Выборочно отремонтированные особнячки сияли среди облупленных знакомых фасадов. Два милиционера лениво курили на проезжей части, равнодушно поглядывали на толпу перед входом в чистенькое, умытое здание. Над зданием трепыхался неизвестный флаг. Возбужденные, чем-то сильно раздраженные люди вели переключку, отмечались в тетрадке у лысого активного мужика. Кричали друг на друга. Обойдя толпу, Александра сообразила, что это какое-то прибалтийское консульство, – нет, теперь так не говорят, надо говорить: страны Балтии.

Несколько раз прошла мимо своего дома, ожидая чего-то, прислушиваясь к себе. Но вместо воспоминаний появилось чувство вялой и беспомощной тоски. Вокруг были, казалось, те же дома, те же самые, но абсолютно другие. Безразличное неузнаваемое пространство отвлекало лишними, ничего не значащими деталями, ненужными вывесками, рекламой, новыми пластиковыми рамами, нелепым мраморным крыльцом перед грязной стеной, на которой русский мат перемежался черными пауками свастики – причудливые отечественные граффити. Хотелось постоять перед домом, подумать, но как только она останавливалась, разглядывая глухие, без занавесок, темные окна на третьем этаже – окна их комнаты, – кто-нибудь из редких прохожих тоже останавливался рядом, задирая голову, следил за её взглядом, изумлялся, пожимал плечами, разочарованно хмыкал. Александра поворачивалась, шла дальше, чтобы избежать дурацких вопросов, делала вид, что гуляет тут, ждёт кого-то, отворачивала край перчатки, фальшиво поглядывала на часы. Но воспоминания не спешили нахлынуть. Загадочный механизм памяти не желал включаться, то есть вроде начинал потихоньку раскручиваться, но без воодушевления, лениво и формально.

В этом доме она прожила четырнадцать лет. Да, точно, четырнадцать. С одиннадцати до двадцати пяти. Самые значительные годы в жизни. Но сейчас дом был совершенно чужим. Обветшавший, старый, нежилой. Какое-то учреждение, общество или, как теперь говорят, фонд: ловкие, безликие, посторонние люди – захватили дом, когда можно было всё хватать, просто так, на всякий случай схватили, не успели проглотить, не успели привести в порядок, потом и сами исчезли, рассеялись, – говорят, перестреляли друг друга, появились другие, переоформили собственность, такие же безликие, посторонние и торопливые. И тоже исчезли. Что уж тут осуждать. Она и сама стала посторонней. А дом так и стоит в небрежении, ветшает, рассыпается – видимо, бедное государство, раздражившись и поразмыслив немного, забрало его обратно, вернуло под свою крепнущую длань. Самим пригодится. Не скоро теперь руки дойдут до простенького трехэтажного домика в историческом центре Петербурга. Ну и что, что старинный. У нас тут всё историческое и старинное. У государства и других богатств как грязи. Не приставайте с глупостями. Хозяин – барин, может, кому подарим. Подумаем.

Она зашла в подворотню, показавшуюся удивительно низкой, осевшей, подошла к заколоченной парадной, подёрнула зачем-то заскорузлую дверь. О, если бы можно было проникнуть. Может быть, лестница сохранилась. Лестница и туалет с низким ржавым унитазом (бачок под потолком, фарфоровая блямбочка на цепоч-

ке) – только там было краткое одиночество. Или уединение? Одиночество тяготит, уединение – желанно. Так считается. Да вот и одиночество в определенном возрасте – хорошая вещь. В любом, в любом возрасте оно было тебе необходимо. Возвращаясь из школы, всегда замирала на лестнице, задерживала шаг, замирала на площадке второго этажа, перегнувшись через перила, прислушивалась, не послышатся ли шаги, длила эти минуты тишины и отдельности от мира. Всегда не хватало этой тишины. Утром по лестнице сбегала, напротив, очень быстро, перескакивая через несколько ступенек, проводила пальцем по извёстке – пудрила нос, казалось, так будет лучше, не будет так ужасно блестеть. Мать выбрасывала регулярно всю косметику, с наслаждением высыпала в помойное ведро жалкую пудру с розовой ваткой, с ненавистью и торжеством обшаривала все укромные уголки, выдвигала ящики стола, перетряхивала портфель, радостно вскрикивала, если находила цыганскую тушь на мыле, огрызок помады и карандаш для бровей: «Что это? – кричала, – что это, я тебя спрашиваю?» Бабушка, бессильно махнув рукой, уходила от воплей и последующих рыданий на кухню и там жаловалась продавщице синих цыплят: «Обе они у меня сумасшедшие, обе... один зять нормальный, так ведь... слабый человек, бабник...». – «Станешь тут, – кивала продавщица, снимая пену с бульона, уменьшала огонек под кастрюлей, вздыхала, спохватывалась, – ну, ваш-то еще ничего, семью не бросает, вот мой гад – это да. Всем гадам гад. Ночью иногда лежу, думаю: убью гада, поверите ли...»

Может быть, сохранились на лестнице старые ступеньки, уже тогда поистёртые, выщербленные, – она бы их узнала: сидели на этих ступеньках с Пашкой до поздней ночи, сплетая руки, болтая обо всём на свете, пока не брякали засовы и не вырастала на пороге их квартиры распатланная фигура матери.

Осторожно двинулась дальше вдоль темной стены второй подворотни – на стене висело едва различимое объявление: «Вход в интернет за углом, в третьей подворотне». У третьей подворотни указатель, на толстой стрелке желтого цвета черными буквами нечто уже вполне привычное: «Вход в Обувь через Евросеть».

Во дворе громоздились бесформенные кучи мусора неясного происхождения – осколки старых кирпичей, куски вывороченного зернистого асфальта, искорёженное железо, смятые водосточные трубы, водопроводные останки, ржавые ванны, ошмётки истлевшего линолеума, осколки голубого кафеля. Видимо, все-таки собирались что-то ремонтировать. Но так и бросили. Остановилась у дверей бывшей котельной. Память замирала, отказывалась узнавать распавшееся пространство. Распалась, вот именно распалась эта самая связь. Не очень понятно, что распалось. Одно только ясно: эта парочка – время/пространство – жить не могут друг без друга. Без своих песчинок, зарубок на притолке, капель, долбящих камень, делящихся клеток, увядающей плоти, умирающих звезд, распадающихся изотопов, осыпающихся фасадов... время – одна лишь пустая абстракция, и больше ничего. Время – оно всегда утраченное, ищи-свищи. Не вернёшь. Бисквитное печенье не всегда помогает или помогает на краткий миг длиною в человеческую жизнь. Чтобы вернуть утраченное время, нужно потратить всё оставшееся. Сделаем вид, что эти поиски доставляют нам удовольствие.

Дверь в котельную была, возможно, и прежняя – только обита листами подозрительно новой жести. Может быть, там нелегальный склад колониальных товаров или хранилище еще советских мешков с цементом, или секретного страшного сахара, или просто тайное пристанище опасных личностей, или совсем уж неинтересное – кладовка дачного инвентаря крепкого еще пенсионера, завладевшего ключом по недосмотру управленцев, а скорее – за мелкую взятку им же. В городе много было таких неприметных уголков (повидала уже, побродила по старым дорожкам), где стояло недвижно прошедшее время, причем в самых, казалось бы, центральных местах. Тихий омут времени мирно дышал на задворках университет-

ского двора перед бывшим общежитием, на самом верху, помнится, жила когда-то Лена Безрукова, большая крупная девушка, красивая певунья, приехала, кажется, из Саратова (где она теперь?), а первый этаж потом отдали бухгалтерии, устроили кассы – стояли в очереди за зарплатой отощавшие филологические преподавательницы, волновались: дадут ли? привезли деньги, не знаете? (нет-нет, это было как раз совсем-совсем недавно, хоть и прошло более десяти лет... какое? уже двадцать почти), спрашивали друг друга: «Анна Петровна, нет ли у вас знакомых бандитов?» – «Ох, дорогая моя, у самой проблемы... был один, вполне порядочный...» Анна Петровна пригнулась к коллеге, громко зашептала, оглядываясь и выпучивая глаза. Стало понятно затихшей очереди, что порядочного бандита убили. Лучшие – погибают. Такой закон. Филологи внутренне посокрушались.

Да, там запустение – ни общежития, ни касс, ни бухгалтеров, ни очередей. Зачем они? Деньги (небольшие, конечно, но прибавят, прибавят) переводят прямо в банк. Кому в «Балтийский», кому в другой – неважно. Практически всё теперь как у людей. Магнитные карты. Банкомат выдает зарплату. Общежития исчезли, и очень хорошо. Зато – тишина, идиллия. Сидит у прежнего пустого общежития на перевернутом ящике перед своей комнаткой на первом этаже сутулая фигура в валенках и платке, лица не видно (кто она? сторожиха? уборщица? смотрительница руин?), десятилетия проходят, но она все так же греется на солнышке, чистит картошку, лежит у ног её грязная добродушная, невероятно преклонного возраста собака, в окошке торчит вечная герань (помогает от ушей), рядом с геранью – надменный кот цвета угольной пыли, окошко почти ушло в землю, в булыжники, в культурный слой Петербурга, летом вырастет между булыжниками травка.

Рука сама потянулась к блестящей ручке и отдернулась. Кроме замка внутреннего, казенного, на дверях висел еще один – огромный, амбарный – и еще замок поменьше, кодовый, на перекрученной крепкой цепи. Так что нечего было так уж отдергиваться руке. Дверь не открылась бы никогда. Тем более, что сто лет назад она как раз была открыта – не распахнута, но явно приоткрыта. И ты потихоньку толкнула её. Дверь заскрипела, и ты увидела, что в пустой мастерской – тогда здесь была мастерская скульптора, загадочного человека, – сидит и смотрит на тебя страшными глазами, величиной с велосипедные колеса, огромная сказочная собака, овчарка. Ты побежала, а спину твою уже догоняли неотвратимые и гулкие прыжки. Тяжелые лапы упали на плечи, повалили. И так это повторялось много-много снов подряд. Ты просыпалась от собственного крика и долго плакала тихими слезами у бабушки на коленях, горькими слезами, – но и счастливыми от того, что это был только сон. Молчаливый скульптор несколько раз заходил: как девочка? (честный человек, не оправдывался, не прятался – сам переживал). – Ничего, – отвечали ему, – не заикается вроде, только по ночам кричит. Он брал тебя за руку, вел в мастерскую, познакомил с Альмой, собака виляла хвостом и была совсем не страшной. «Погладь её, погладь, не бойся». Но по ночам еще долго преследовали тебя сотрясающие землю прыжки и хватали за плечи когтистые невидимые лапы.

«Саша, Сашенька»... прошелестело за спиной.

Зажмурилась, затрясла головой, отгоняя наваждение. Уже не в первый раз. Недавно у Владимирского собора, вечером, на пустынной улице – бежала к метро из гостей, торопилась – у них тут метро закрывается в двенадцать, услышала, как кто-то зовёт по имени. Оглянувшись – никого. И снова явственный голос над самым ухом. Рассказала на следующий день Юрке. Засмеялся. «Это тебя дома окликают. А если серьезно, ничего удивительного. При некоторых сосудистых патологиях могут возникать слуховые галлюцинации – и не только слуховые». – «Не пугай меня». – «Я не пугаю. Давай оставайся. Мы тебя вылечим».

– Сашка, удавлю поганца!

Невысокая темная фигура, держась за стену рукой, выползла из-за угла.

– Мальчишек не видали? Ой, извините, я вас, кажись, напугала. Здрасьте. Чё-то лицо мне ваше знакомо...

Женщина подошла, поправляя платок, заправляя седые космы. Приблизила лицо. Темное, морщинистое, с бугристым широким носом. Александра брезгливо отстранилась – от старухи шёл сивушный дух, теплый противный выхлоп...

– Да нет, не могли вы меня раньше встречать, я здесь собственно... так... проездом, вот жду... мужа...

Сама не поняла, зачем добавила этого «мужа», какой-то противный рефлекс сработал, чисто российский, может быть, азиатский: женщина без мужа не имела своего «социального лица» в этих краях; ждать можно только «мужа», простому сознанию это понятно, а одинокие блуждания по полям воспоминаний – дикость, желание побыть в одиночестве и молчании – ненормально, и вообще: для женщины это – причуда; в былые времена засидевшиеся девушки тайком надевали обручальное кольцо, особенно на встречи с однокурсниками, даже потом, когда уже возникла и повсеместно распространилась «таблетка», а сексуальная революция восторжествовала, и не только в столицах, женщина без спутника вызывала сочувствующие замечания.

– А муж ваш не в жилконторе, случаем, работает? Может, я вас там видала? Вы сами-то в каком доме живете?

Старуха снова придвинулась, и Александра постеснялась слишком резко отступить. В метро как-то обратила внимание, что пожилые люди жмутся к человеческим телам, словно ищут защиты, а молодые держат дистанцию. У всех при этом лица мрачные, замкнутые, недобрые – впечатление, что скажешь слово – разорвут в клочья. Какой-то вирус неприязни и ненависти. Но встречались и такие... повышено любезные, вежливые, всем видом своим упрямо настаивающие на особой петербургской воспитанности, и от этого становилось ещё грустнее.

– Нет-нет, я не здесь живу, я тут как бы проездом...

– А то я хожу-хожу, а там никого никогда нет, в жилконторе-то, и не дозвониться – трубку не берут, а подвал снова открыт: они замки сбили, эти сволочи, и снова там кучкуются. Мальчишек заманивают. Сашку моего уговорили банку с огурцами принести. Я его пальцем никогда не тронула. Только заплакала – он и сбёг... Это правнук мой.

– Из дома убежал?

– Ну да. Со вчерашнего вечера ищу.

– Так надо в милицию...

– Куда... это уж не впервой. Милиция такими глупостями не занимается.

– Сколько же ему лет?

– А? Девять, девять лет ему. Внучка в пятнадцать родила – теперь гуляет, молоденькая ведь...

– В школу-то он ходит...

– Не, в школу он не ходит. Не хочет он.

– Как же это так? Как так может быть? Что значит – не хочет...

– А вот так, неинтересно ему. А заставить я не могу, у меня и документов его нет.

– А читать он умеет?

– Читать он умеет, и считает – лучше нас с вами, а в школу не идёт.

– Неправильно это.

– Знаю, что неправильно, но сделать ничего не могу. Сил у меня никаких не осталось. Он ведь по вагонам стал ходить. В метро. Мне люди сказали. Просит. Вот и считает, как не знаю кто, бухгалтер какой... А может, вы кого из жилконторы знаете? Всё ж таки я вас где-то видела...

Старуха жалобно пискнула, всхлипнула, заплакала. Некрасивая была старуха, и плакала некрасиво, приоткрыв беззубый рот. Схватила Александру за рукав, жарко задышала, обдала снова ужасным запахом, заговорила уже совсем бессвязно:

– Ну... это... если не муж, то все равно, я вас точно с ним видела, с Никанор Ивановичем, вы скажите ему, они трубку не берут или занято, а ведь эти сволочи подвал подожгут – видите, окошки светятся (Александра посмотрела, куда указывал скрюченный палец: действительно, в грязных и узких подвальных стеклах мерцали какие-то огоньки), свечи жгут – электричество-то отключили, вот попомните, они пожар устроят, вы ему передайте, тут ведь недалеко... надо подвал заколотить, чердак, хорошо, заколотили – так они в подвал, и Сашка им еду носит, самим есть нечего, а он туда носит, я все банки пересчитала, с огурцами еще пять осталось... На своём горбу ведь всё, в мои-то года, думала, до весны дотянем, и капуста куда-то девается, я столько капусты не ем... куда она девается, вот скажите мне... я сначала на Мотю грешила.... О, мать моя женщина, потом уж докумекала: Сашок им и капусту носит.

Александра вырвала руку, отскочила, прижимая сумку к груди, открыла, быстро вытащила невеликую купюру и протянула бабке. Повернулась, пошла быстрыми шагами. Не бегом, но очень быстро. Кривобокой бабке не догнать.

Что ж это за место такое. Бывшая мастерская, потом подозрительная котельная. Баскервильские собаки детства, сумасшедшие старухи – вцепляются в спину, хватают за рукав. Хорошо, что можно откупиться от тошнотворного запаха нищеты, от когтистых лап раскаяния, от укоров, упрёков, от рыданий и скандалов. На время, конечно, на время. Но все-таки. Хоть так. Вспомнила, как отец мелкими подарками покупал свой покой и молчание бабушки, а разнообразными услугами – благоклонность соседей, вычислявших мгновенно его новые романы. Соседи особым стуком звали его к телефону, многозначительным, – отец вырывался из комнаты, плотно прикрывал за собой дверь, но мать обязательно дверь снова открывала и несколько раз проходила по коридору мимо телефонного столика, туда-сюда, в кухню и обратно, с кастрюльками или чайником, под его хмыканья и коротенькие словечки: «да-да», «непреренно», «и я», «завтра обсудим». Вспомнила, ни к селу ни к городу, фантастическую историю про заместителя директора, который стал хозяином в институте на краткий срок директорского отпуска, а был этот зам академиком – совсем не администратор, ничего не умел, был математиком и людей боялся. Уговорили, обвели вокруг пальца, подставили, посадили в директорский кабинет, и пришлось ему общаться с народом. Потекли к нему научные коллеги со своими проблемами. Если к нему приходил проситель, обычно какой-нибудь начальник отдела или лаборатории (других секретарша просто не допускала), несчастный математик в суть вопроса не вникал, на мгновение отрывался от своих формул, с гримасой непередаваемого страдания выдвигал центральный ящик стола, шуршал там, доставал красненькую десятку и вручал обалдевшему уважаемому человеку. Начальник – допустим, отдела – тут же удалялся, спиной, задним ходом, двигался к двери, там разворачивался и с десяткой в дрожащей руке выходил в приёмную. Некоторые чувствовали себя оскорбленными и не скрывали этого, даже кричали. Секретарша, ко всему привыкшая, делала сочувствующие глаза, но молчала. Другие пожимали плечами, опускали десятку в карман и тут же исчезали. Но все уходило, все как один, причём быстро. Кабинет директора был отделен от приёмной двойным тамбуром, поэтому возмущенных криков недовольных посетителей бедный математик не слышал и с наслаждением возвращался к своим бумажкам – «формулки мои», так он их ласково называл. Потянулись и мелкие сотрудники с жалобами в высшей степени ничтожными и смехотворными. Самые шустрвые изобретательно преодолевали секретаршины препоны и быстро выскакивали из кабинета очень довольные. Но тут отпуск директора закончился.

Здравомыслящие коллеги снисходительно выслушивали эту легенду, смеялись, соглашались, что отличный сюжет, неплохо придумано, но отсмеявшись, начинали уже серьезно обсуждать, откуда в ящике директорского стола могли бы появиться шелестящие купюры. Неужели это были его личные денежки. Академики, конечно, были побогаче простых людей, но не настолько же. Не мог академик из собственных академических доходов оплачивать плодотворное одиночество и свой научный покой. О, этот мог, вы просто его не знаете. Наиболее реалистическим представлялось все-таки предположение, что сам директор, отъезжая в отпуск, оставил в столе пачку денег на представительские расходы, на чай с лимоном, на... ну, скажем, на коньяк выдающихся звездочек, о чем никто не должен был знать.

После бывшего детского дома (...вот, вспомнила: там был каток, для этих бедных детей заливали каток, а нас туда не пускали, и мы за это детдомовцев не любили, они были другие – бледные, тощие, в одинаковых пальтишках и шапочках, с испуганными глазами, куда-то их выводили строем – то ли в баню, а может быть, даже в театр; после девяти мы перелезали через забор прямо в коньках и катались уже в полной темноте, пока из-за нашего смеха и визга не выходил на крыльцо их сторож, орал нечеловеческим голосом.) ...после бывшего детского дома началось пустое перерытое пространство, мертвые прозрачные этажи с зияющими дырками для окон, какая-то стройка, почему-то совершенно безлюдная – никаких строительных рабочих, никакого строительного шума и суеты, только высоко, на «лесках», застыла, опершись на хлипкое ограждение, бесформенная фигура, курила и задумчиво поплевывала вниз.

Александра дошла до Малого проспекта, повернула налево, перешла на другую сторону, постояла перед домом, где наверху, в квартире – ну, это не совсем квартира, это мастерская художника – до сих пор, кажется, живет один необыкновенный человек, хотелось бы с ним повидаться, да уже не успеть. А из подворотни выходила Лариса Андреева, выкатывала детскую коляску: её мама родила ребеночка (мужа у мамы не было), когда нам было лет по пятнадцать, событие в наших головах не укладывалось и страшно волновало, Лариса на вопросы не отвечала, отводила глаза, шептала: «Какие дуры». А вот окна квартиры Новоселовых, брат Людья Новоселовой почему-то носил другую фамилию, Катюхин, прозвище «Катюка», – его это нисколько не смущало, первая любовь всех-всех-всех, почему в него все были влюблены, объяснить никому не удавалось – ни рост, ни красота, ни сила, ни ловкость – ничего такого в нем не было, непонятно это было, пока бабушка не сказала: обаятельный, чёрт! Стал актером, не очень знаменитым, но все-таки.

Еще раз прошла Александра мимо своего дома, но уже по другой стороне, увидела давешнюю старуху: тычками гнала она перед собой понурого щуплого мальчишку, ругалась визгливо, мат долетал отчетливый, прохожие останавливались, качали головами – осуждали, видно, такое обращение, шли себе дальше.

(Вечером, глянув на себя в теткино старинное зеркало, Александра застыла в минутном столбняке: на неё из серебрянной пустоты смотрели бабушкины глаза, испуганная улыбка искривила бабушкины губы, и дикая мысль пришла ей в голову: кривобокая старуха могла помнить бабушку.)

Перед бывшим овощным магазином на перевернутых ящиках, как в былые времена, сидели два мужика в забрызганных краской комбинезонах, кусали бутерброды, запивали, лица у мужиков были темные, волосы черные, ежиком, «тоже, что ли, таджики?». Начинался обычный снеговой дождь. Раскрыла зонтик. Мужики посмотрели на неё равнодушно, подняли глаза к низкому небу, продолжили свой обед.

И в этот момент раздался звонок.

– У тебя есть жилетка?

– Что-что? Не понимаю? Что ты сказал?

- Жилетка, спрашиваю, у тебя есть?
- В смысле?
- Ну, для приема дружеских слёз.
- Не... здесь нет – там, в Мюнхене, осталась.
- Вот какая ты, однако. Зачем тебе там жилетка, когда мы плачем здесь.
- А что случилось-то? Тебе шарфик не подойдёт? На мне сейчас такой красивый шарф. Индийский.
- Ладно, сойдет. Ты где сейчас? Подъезжай к институту давай... Или нет, походи к метро, там на пешеходной зоне лавочки стоят. Я тебя найду. Снег пошел? А... тогда вот что: дальше по ходу есть кофейня, поднимайся на второй этаж, на втором народу вроде меньше – сиди жди...

На втором этаже народу действительно было немного. Александра выбрала столик у окна, поставила перед собой крошечную чашечку с «эспрессом», усталилась в окно. Дождь неожиданно кончился. Небо стало выше и обнаружили синие просветы, выкатилось праздничное солнце. Бульвар мгновенно засиял и заполнился неизвестно где скрывавшимся людом. Какие-то бомжи уже тут как тут, патлатые, уродливые, в тряпье, с грязными пластиковыми сумками, размахивают руками, спихивают друг друга с мокрой скамейки, галдят – хорошо, что не слышно отсюда, – только рты разеваются беззубые, и запах не ощущается. Компания черных готических малолеток, в цепях и шипах, клубится рядом, у каждого в руках бутылочка, лица потусторонние, изможденные, уставились в пустоту, не общаются – играют в инопланетян. На соседней скамейке женские фигуры неопределенного церковного возраста, в чистеньких платочках, в длинных юбках, присели, подстелив аккуратно пластиковые пакеты, беседуют – из церкви идут или в церковь, тут рядом, у Андреевского рынка. Наверное, все-таки из церкви – такие уж благодатные, не хотят расставаться – вкусили благодати, счастливые. Напротив сидят прямо на поребрике вечные питерские мальчишки шпанистого облика, гитара у них, но не играют пока – гогочут, закидывая головы, тоже в руках бутылочки, прихлебывают. Никто никому не мешает. Обычные скучные прохожие, незапоминающиеся, спешат по своим делам, обходят этих маргиналов, не замечают, торопятся, пока не начался час пик и не ограничили впуск в метро низкими металлическими заборчиками. Вот тогда начнется тихая душная давка, молчаливый поток уставших людей, с редкими вскриками в медленной густой управляемой толпе (тривиальная метафора понятно чего). Встанет у заветной дверцы тупенький милиционер, будет открывать и закрывать её по собственному соизволению, пропуская плачущих женщин с бледными испуганными детьми (отчего питерские дети всегда такие бледные?) и кой-каких инвалидов с трясущимися головами, на костылях, а кого-то будет отталкивать, заворачивать поддельных и наглых: «Куды прёшь? удостоверение? вот и сиди дома со своим удостоверением, палка у тебя? каждый возьмет палку и прёт, утром ездят в свою поликлинику, палку мне выставил, хромать отсюда...»

Два офисных худеньких мальчика, тоненькие, высокие, почти одного роста, с одинаковыми чистенькими личиками (юношеские мучительные прыщи остались в том времени? еда, что ли, другая?) и ясными глазками, похожи, как братья, – один, правда, в очках, – прошли мимо, пронесли свои подносики: тарелочки с салатом, графинчик и рюмочки, заняли соседний столик, скинули куртки, остались в костюмах, хороших, почти одинаковых. Заскрипели стульями, зазвенели вилками, забулькали.

- Ненавижу это искусство. И блядь эту лживую ненавижу...
- Успокойся.
- Нет, ты послушай. Не тот язык у меня... видали? Для Лондона у меня был тот язык, а для вшивых японцев – не тот.

- Ну, давай за удачу!
- Скажи, у меня, что, не тот язык?
- Тот, тот. Чего ты, в самом деле...

– Сука лживая, дрянь – просто ей надо жопу лизать. Противно, конечно, но ведь и не предлагает.

Под тяжелыми шагами заскрипела лестница. Появилась голова Павла. Тяжело опираясь на перила, вырос весь: пальто расстегнуто, воротник торчит криво, неправильно, шарф свесился с одного боку – сейчас соскользнет, мрачный, крутит головой, ищет. Что-то он обрюзг за последние дни. Увидел её, наконец, обрадовался, но так – не очень. Выжал из себя улыбку. В глаза посмотрел на мгновение – и отвел глаза. Уселся с каким-то старческим трудом, сцепил руки, лег на них подбородком, прикрыл веки. Ужасные складки вокруг рта, лицо серое. Плоховато выглядит, и похудеть ему надо. Мальчишки глянули на них, переглянулись – между собой могут его и дедом назвать. Молодежь так и говорит теперь: «А ну, дед, подвинься...» – в лучшем случае: «Не знаешь, отец, где тут...» – неважно в русском языке с обращениями, то ли дело «Скажите, сэр, где у вас тут?» или «Извините, сеньор, здесь свободно?» Александра улыбается. Павел поднимает голову: «Ты что это улыбаешься? Уже донесли?» – «Бог с тобой. Что донесли?»

– Это странно все-таки, что именно мне ты это всё рассказываешь.

– Ничего странного. Юрка только злорадствовать будет, так тебе и надо, скажет, доигрался, мол. Ты, может, тоже так подумаешь, да не скажешь. Сергей начнет себя в пример ставить, как он замечательно решил свои семейные проблемы. Ну, Николаю... в первый момент хотел даже морду набить... парадокс... если бы я ему не протезировал так, может, никакой Южной Кореи бы и не было, и квартирки не было. Да, в первый момент хотел, честное слово... но он в следующую пятницу летит, у нас совместный контракт, он мне должен был ключи оставить... Обскакала. Что уж наплела, не знаю. Не мог, видите ли, отказать. Она уж и вещи перевезла.

– А сама-то она где? До следующей пятницы-то она где?

– Вот и не знаю. Скитается где-то. Есть у меня подозрение... Может, Лийка причастна, она тут возглавляет профсоюз солидарности обиженных жён. Николай знает, но дал слово и молчит, гад. И в морду дать не могу. Работать она будет, представляешь. Сто лет не работала – теперь работать пойдет. Кому повем печаль мою. Я почему-то утром сразу же вспомнил о тебе. Почему-то так и сказал себе: вот кого хочу видеть. Поговорить-то, оказывается, и не с кем. Тебе там не с кем. И здесь, выходит, не лучше.

– Боже, через неделю я улетаю. Надеюсь, за это время никто больше не умрет, ничьих детей не изобьют бандиты, ни от кого не уйдет жена...

– Надейся, надейся... Ты нашей жизни не знаешь, я же тебе говорил уже... Давай я еще коньячку принесу.

– Да хватит тебе, тут вот еще есть немного. Тем более я больше не буду. Мне же нельзя: Юра не велел, ругать будет.

– Слушай его больше. Тоже мне ангел-хранитель. А я вот... допью и обязательно возьму... Ты вообще-то понимаешь, что произошло? Я, может, именно напиться должен...

– Не преувеличивай безвыходность.

– Я не преувеличиваю. От всех жена ушла... Очень смешно. Ты еще скажи, что-нибудь про дом престарелых...

– Мне показалось, что Марина Сергеевна не в таком состоянии...

– Хуже, гораздо хуже...

– Ну... в конце концов у тебя есть эта... пятидесятилетняя девушка с ребенком...

– У-у-у!!! И ты... Брут, блин. Злюка! Во-первых, ей нет и сорока пяти, а во-вторых, у неё мать из инсульта едва вылезает. И как ты себе мыслишь? Она с двумя

старухами и больной Таткой будет дома сидеть? Всё бросит, да? Да и я не потяну. Да и вообще в эту сторону смотреть... полное безумие.

– Прости, дорогой, я не хотела...

– Хотела, хотела.

– Опять же дочь у тебя есть, Настя всегда была такая рассудительная, трезвая, умница – можно вместе эти проблемы разрулить, ты не один. Семья все-таки. Вот Николай действительно один...

Павел делает рукой бессильный отрицающий жест, смотрит разочарованно, мотает головой, прикрывает ладонью глаза:

– Нет, это невозможно, невозможно. Ты совершенно разучилась утешать людей. Никто ничего не понимает, давай уж допьем остатки...

– И внучка старшая, как её зовут – Ирочка? Уже большая девочка, может помочь...

– Так она старшую внучку-то уводит с собой, ты не слушаешь, что ли? Я ж тебе объясняю: Настя там в истерике бьётся, грозит, что дома деточку запрет, а та, наглая: «Не имеешь права ребенка в школу не пускать, а из школы меня Тина забрет...».

– Ух ты! Прости, забыла... Круто! Cool, сказка про Крысолова получается.

Павел замолкает надолго, и Александра понимает, что его надо взять за руку, просто коснуться его руки – больше ничего она сделать не может и сказать ничего не может. Но бывают такие мгновения, когда молчание невыносимо, как духота и отсутствие воздуха, при этом ты осознаешь, что любые слова будут неуместны, и все-таки, задыхаясь, произносишь нечто ужасное, вроде «жизнь пройти...» или «все перемелется...».

Она прикрывает своей ладонью его руки в мелких коричневых пятнах, вздрагивает от этих пятен (помни о голосе – напоминает себе), совершенно чужие руки, и выдавливает бессмысленное:

– Ну, ничего-ничего...

– ...

– А вот скажи мне: это что, была последняя капля?

– Последняя, видимо, последняя. Ну нет у меня ничего. Тина прекрасно это знала. Я еще и за сейф не расплатился с людьми. Там же лежала вся наша зарплата. Юрка тебе не мог не рассказать.

– ...?

– Ну Андрей вынес мой сейф, утром, это перед Новым годом случилось – хороший новогодний подарочек, да? Мама была одна дома, открыла ему – ключиком я у него давно отобрал: наврал ей что-то, «бабуленька открой» – она и открыла. Пришел с дружкой. Или с двумя. Бабуленька ничего не помнила, он её отвлек, альбом свой новый стал показывать, ручки гладить. Вынесли. Увезли. Где-то там раскурочили. Ты не знала, что ли? Всё, нет у меня больше сил...

Мальчики встают, шумно отодвигают стулья, старательно уставляют подносы пустой посудой, натягивают куртки, накручивают шарфы. Очкарик случайно задевает рукавом куртки опущенные плечи Павла, пугается, прижимает ладонь к сердцу: «Ой, простите, пожалуйста...». Без обращения. Интеллигентные мальчики, воспитанные, со знанием языков, в Лондоне побывали.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ – 2

Действительно – прекрасное разрешение. А вот постой-постой, что это мелькнуло, где это ты скользнул сейчас? А можно немного назад? Узнаешь? Да ты что? Никакая не Петроградская. Это вокруг Техноложки. Непримечательные улицы – ты и не мог эти улицы знать, если там не жил и друзей у тебя там не было. Ничего

в них, по правде говоря, живописного и не было. Чтобы названия их запомнить, существовало мнемоническое правило. Как же это? Вот, сама не помню, что-то про «пустые слова балерины». Moment mal, одну минуточку, сейчас я тебе найду. Не надо, зачем? Теперь неважно уже. Интересно же, мне самому интересно. Пожалуйста:

*Есть в старом Питере такой район – Семенцы, когда-то на его улочках был расквартирован знаменитый Семеновский полк. Прежние таксисты, а до них извозчики, запоминали последовательность этих улочек близ Техноложки – Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая – как «Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины», иногда заменяя последнее слово на Большевиков или на политически нейтральное, зато очень точное русское слово.*

Ты на какой улице жила? На Подольской. Вот смотри: табличка сохранилась, и название – я жила как раз на Подольской. Но Семенцы эти так и остались для меня чужими – я совсем недолго там жила, в раннем детстве, а потом уж только на Васильевском. И знаешь, однажды, много лет спустя, приснился мне сон и потом повторялся. Пустая пыльная улица. Лето – редкое время года в нашем дорогом болотистом городе. Ни единого живого существа. Сумерки. Перспектива уходящих вдаль домов. И знакомый, вот этот, фасад нашего дома. За всю жизнь в Питере ни разу, кажется, до него не дошла наяву. Ну, может быть, проходила мимо, ничего не вспоминая, не замечая. Ну, дом и дом. И вдруг приснился здесь, в другой стране. Наш дом. Вовсе не наш – просто мы снимали там комнату, за бешеные деньги у богатых людей. Нам они казались богачами, еще бы – у них после войны все было для жизни, настоящее богатство: посуда, кастрюли, корыто, ребристая доска для стирки, керосинка, кровати с никелированными шариками (я один потихоньку отвинтила, спрятала в карман, бабушка потом гонялась за мной – нет не с ремнём, откуда ремень в семье без мужчин – с полотенцем, наверное, что под руку попало, – не догнала), одеяла с подозрительными разводами – одно нам кинули, на бедность, и был у них даже высокий спинкой, узеньким овальным зеркальцем и полочками по бокам – для вазочек с цветами, видимо, ну а главное – эти две комнаты, одну они всегда сдавали – источник дохода, а у нас ничего не было, наш дом на Мытнинской разбомбили... Потом его восстановили, но вещи все погибли...

О, я недавно проезжал мимо, там теперь снова руины. Могу показать... Ух ты! Пустое место уже, всё расчистили, быстро это у них – умеют, когда хотят, будут строить что-то, вид какой замечательный на Эрмитаж и Неву, и даже на Петропавловскую крепость, уплотнительная застройка называется, ты не в курсе, конечно, а эта застройка – предмет стений нашей интеллигенции.

А почему ты иронизируешь?

Ну прости, так уж получается.

Вернись назад. Так вот – сон; ты видишь дома и эту улицу, но перспектива какая-то странная, усеченная. Непривычный угол зрения. И вдруг понимаешь – там, во сне, уже понимаешь, что ты просто маленькая, тебе лет шесть, у тебя другой рост, ты всё видишь по-другому, под другим углом – не так, как высокие взрослые люди, ты там в своем прежнем возрасте, но... одновременно с необъяснимым опытом уже другого зрения. Просыпаешься с отчетливым и спокойным знанием, что ты всегда была такая, вот с точно таким, тем же самым ощущением себя и своего состояния, своего одиночества, отдельности от мира и людей. С холодом и ясностью в сердце. Угол зрения мог меняться, но что-то оставалось неизменным, это – ты, ты, то, что ты называешь «я». И сон повторялся, и повторялась пронизывающая тревога. Помню эту тревогу. Все детство. И потом тоже. Картинки перед пробуждением всегда были тревожные, бесцветные, словно сквозь пыльное стекло, безлюдные, клочья растаявших образов уносились в серую

даль, не поддавались восстановлению – какие-то обрывки, картинка не складывалась, редко удавалось вспомнить, что же там происходило, – от этого и возникало щемящее, болезненное чувство, проще всего было назвать его: тревога. Тревога, которая постепенно рассасывалась при свете дня, при первых звуках возвращения в жизнь. Если закрыть глаза, легко вспоминались эти ранние утренние звуки, первые прекрасные звуки надежды. Утешающие звуки разгорающегося дня, деревенские, летние, дачные: оглушительное пение утренних птиц, крик петуха, грузные шаги ворон на крыше, шум ветра, дребезжание стекол на веранде, постукивание ветвей в стену, лай собак, кто-то проехал на велосипеде – свой ли, чужой – волны лая стихают вдаль и вновь нарастают: ага, это он возвращается – или уже другой? телепеньканье рукомойника в сенях, крикливый разговор женских голосов – впрочем, вполне мирный, – слов не разобрать, звон ведер, смех. Или зимние, городские: далёкий ночной звон трамвая, предрасветные скребки дворников по асфальту, хлопанье соседских дверей, завывание крана на кухне, торопливые шаги в коридоре – сквозз сон, на слух узнавала, кто пробежал мимо. Две сорокалетние девушки жили напротив, помнила их имена – Роза и Нина. Жили в одной комнате, много лет, работали на заводе Козицкого, раньше всех вставали, ненавидели друг друга, годы спустя разгородили свою квадратную комнату на две длинные. Долго добивались, рыдали, одна, кажется, Роза, тощая, сутулая, пыталась даже родить, но «выкинула». Нина была широкая, полногрудая, Розу называла «моя проститутка». Добились все-таки. Получились две узенькие комнатки, у каждой своя долгожданная дверь с настоящим замком, как у людей, окно выходит во двор. Настоящие комнатки получились, перегородка до самого потолка дошла (чтобы до потолка, вот на это и требовалось особое разрешение), безжалостно раздавив алебастровые цветы и листья, окружавшие кольцом крюк для люстры, а крюк рабочие долго выдирали, приговаривали: «Ну, девки, всё, не на чем вам вешаться будет, на нем, говорят, хозяйский сынок удавился – по ночам не беспокоит? Как вы его делите? Не ссоритесь?» Так незамысловато пугали, заигрывали. «Он культурный, тихий, – отвечала Нина, – а вообще-то мы покойников не боимся, мы вашего брата сколько перетаскали... О!» Во время войны они санитарками были, по слухам, так война и свела, и вырваться друг от друга уже не удавалось – только вот перегородочку выхлопотали. Прошло время. Нина обмякла, слегка похудела, грудь её опустилась, зато на работе её заметили, оценили, назначили начальницей ОТК, и всю страсть она стала растрчивать в служебном рвении. Роза, напротив, округлилась телом, как-то не ко времени («Поезд ушел», – цедила подруга), рыхлой нездоровой полнотой, однако сутулость никуда не делась, и похоже было, что к старости она совсем согнется, но и её тоже «повысили» – выбрали в какой-то комитет. Одинокие сорокалетние девушки (какие «сорокалетние»? да уж под пятьдесят им к тому времени стало) заметно затихли, успокоились, смирились со своей участью, прекратили крики и драки, когда приходилось их разнимать неравнодушным соседкам (мужчины коммунальные никогда не вмешивались). И как-то раз продавщица синих цыплят, многозначительно улыбаясь, шепнула бабушке на кухне: «Подумать только. Эти-то... в кино...вчера... вместе ходили».

Бабушка тихонько отщипывает лучинки, чтобы тебя не разбудить, ты открываешь один глаз и видишь её круглую спину, крепкие морщинистые руки, они с силой, но осторожно давят на топорик. Легкий треск – лучинка отваливается, топорик срывается и падает на жестяной лист перед печкой, бабушка шепотом поминает черта, спохватывается и крестится.. За дверцей печки весело гудит и мечется пламя, сияют оранжевые дырочки в темноте, мерцает и переливается в них огонь. «Вставай, деточка, вставай...» Теплая рука тихонько и нежно трясёт тебя за плечо. «Вставай, моя ненаглядная, пора...» Никогда потом уже не было такого чувства защищенности и покоя, как в эти короткие мгновения темного утра, когда бабушка

разводила огонь, – короткие, совсем короткие, потому что по сигналу пионерской зорьки (без двадцати восемь? да?) ты вскакивала с закрытыми глазами, пошатываясь, хорошо, если туалет был свободен (ванная всегда была занята). Однако у бабушки уже были приготовлены тазики, кружки, теплая и холодная вода – все в одной комнате.

А вот ровный унылый шум городского дождя, воскресного, нескончаемого. Пауза в жизни. Никуда можно не спешить, жизнь остановилась, заштрихованная косыми струйками. За окном пустынная улица – лишь внизу изредка пробегают по старым квадратным плитам черные торопливые зонты: неотложные дела выгнали из дома угрюмых людей. Бедные, бегут по лужам. И родители тоже ушли на воскресный обед к тетке, несмотря на дождь: ничего не поделаешь – там день рождения, а здесь всегда дождь. Ты осталась, отговорила першением в горле – не хотелось к тетке, скучно слушать их непонятные, неинтересные разговоры. «Надо, наконец, вырезать гланды, – произносит мать, разглядывая в зеркале нарисованную бровь, – сколько можно, на следующей неделе пойдем на Бронницкую». На Бронницкой – известный институт, врачи (их называют *лор*, «надо показаться *лору*»), стоит в вестибюле института пирамидальная витрина, за стеклом лежат на пыльном темном бархате странные искореженные предметы – иголки, ложечки, отвертки, сережки, кольца, монеты, винтики, гвозди и гайки – то, что любят глотать дети (такая была надпись), то, что извлекли из их желудков, – или куда уж там попадали эти ужасные предметы, – сильнее всего поразила большая вилка, гнутая, шершавая на вид, словно изъеденная кислотой. Другие дети, совсем другие (надеются родители), ждущие с родителями приема *лора*, подходят робко к витрине, встают на цыпочки, разглядывают любопытными испуганными глазами зловещие штуковины, с воспитательной целью некоторых мальчиков взрослые даже приподнимают, чтобы лучше было видно: «Вот, смотри, какие дураки бывают на свете...».

Все ушли. Квартира затихла, тихое воскресенье. Бабушка на кухне печет пироги. Чудные запахи просачиваются в приоткрытую дверь. Идет дождь. Прекрасное унылое время. Тихий мерный шорох дождя. Время читать, листать страницы туда-сюда, прижавшись к теплому боку печки, читать по диагонали, задумываться, блаженно зевать, вздыхать с сожалением, непонятно о чем, кусать яблоко, закрывать обложку, медлить, ставить обратно на полку, доставать другую книгу, сдувать, вытирать ладонью, тонкий слой пыли и вдруг... впиваться, мгновенно переноситься в неведомые, волшебные края, осторожно подцеплять матовый папиросный лист, переворачивать, разглядывать с некоторым сомнением разрушенные выщербленные колонны, увитые виноградными лозами, холмы Тосканы в просветах между колоннами, безголовые статуи в каменных тогах, застывшие в танце женские фигуры – картинки другого мира, придуманного и не существующего на самом деле, никогда не существовавшего, «трамвай останавливается у церкви Мадонна делле Карчери».

Хищное время отступало, уходило в тень, сжималось в пыльный комочек, смотрело из угла терпеливыми холодными глазами. Пусть смотрит, – говорила душа, – а мы летаем с тобой, летаем – не обращай внимания.

Бабушкина рука тянется, проходит сквозь мутную толстую стену покинутого мира, вытягивается, вытягивается, ставит на стол плоское блюдо с прямоугольными кусками капустного пирога, пышными, еще горячими, гладит тебя по голове, исчезает.

А потом круглую печь, теплую, уютную и суставчатую, сломали, вынесли во двор остатки слипшихся кирпичей и смятые листы старой жести. В комнате осво-

бодился обширный угол, и туда сразу же передвинули диван. Весь дом радостно ломал печи, и на лестнице долго стоял запах кирпичной пыли, а под окнами установили ребристые батареи; они до осени стояли тихие и пустые, лишь к первым холодам, подгоняемые волнениями мёрзнувших жильцов, грозно заурчали и некоторые рванули – к счастью, на первом этаже, так что никого не залило и все обошлось, можно сказать, практически безболезненно – только дворничиха-татарка плакала: поплыли её простыни, одеяла и письма погибшего мужа в желтой вонючей воде. Но ей сделали быстрый ремонт за счет ЖАКТа – начальником был тогда честный хромой инвалид, и еще активные сострадательные женщины ходили по квартирам – собрали татарке по рублю.

Спустя годы пришли с матерью к портнихе – все-таки как-то она заботилась о твоих нарядах. Пока мастерица во время примерки закалывала на тебе вытачки, мать листала модные журналы, прикидывала на себя новые фасончики, оглядывала комнату, загроможденную уродливыми шкафами, спросила скучающим голосом: «Отчего вы печь не выбросите, больше места было бы – у вас тут тесновато...». – «Этокомнатаблока, и ничего тут трогать нельзя», – прошепелявила портниха сомкнутыми губами, полными булавок. Блок коммунистов и беспартийных, что ли? Так звучало тогда отовсюду. Бессмыслица. Но вдруг поняла: Блока! Александра Блока! «По вечерам над ресторанами...» Боже, среди этих жалких тряпок и фанерных уродов? Нет, конечно. Но в этом воздухе, в этом пространстве, дыша духами и туманами... В каком-то «этом воздухе», Господь с вами: давно другой воздух, ветром революции выдуло ваши туманы и духи, ваши кресла красного дерева, ваши часы стоячие с боем, ваши библиотеки, ваших извозчиков и даже ваших пьяниц с глазами кроликов, хотя... этих может быть, и пощадили как социально близких, однако не всех, – а уж девушек, *европеянок нежных*, схваченных грубыми руками – не шелками же, поголовно – не пощадили, не пощадили, нет, «господа, вы звери, господа...», но печь все-таки осталась, высокая, высокая, белого кафеля. «Где-то пели смычки о любви...», да, они снова робко запели, осторожно напоминая, что безумие прошло. Отпустило немного. Пора уже, сколько можно. Отпустило на время. Ремиссия называется. Рядом берег Пряжки. А кресла красного дерева мы потом на помойках подобрали, реставрировали (когда для себя делаешь, даже «русская работа» отлично получается), притащили к себе – до сих пор стоят. Удивительные были времена: на помойках настоящие драгоценности валялись – надо было, конечно, знать эти помойки, куда бедные пролетарии выбрасывали рассохшиеся благородные останки, – и радостно втаскивали в свои коммунальные жилища фанерных новеньких чудовищ. Кое-кто эти помойки вычислил – на Васильевском, на Петроградской, на Песках – студенты из «Мухи», например. Потом уж в антикварные магазины всё это, на скорую руку подкленное, попадало, да и там эти штуки музейного качества знающие люди за совершенные гроши отлавливали – и даже картины, которые до прилавка и не доходили. А музея Блока никакого еще долго не было, но мысль о нем, видимо, уже зародилась – раз не разрешали трогать прекрасную громоздкую печь. Очень похожая печь, между прочим, была в нашем классе, в самом углу, справа от доски. Школа в каком-то странном здании помещалась, совсем не школьном – и вот печи сохранились. И при этом их топили, не доверяли паровому отоплению. Ранним утром, когда в городе стояла еще морозная ночь, ходил по холодным пустым классам маленький и мрачный истопник, открывал двойные медные заслонки, поджигал заготовленную с вечера растопку. И печи долго держали тепло, почти до самого вечера. Новая учительница литературы на последнем уроке уже никого не спрашивала, прислонившись спиной и ладонями к белым и гладким кафельным плиткам, читала: «О весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта...». Или кое-что и почище: «О бедная моя страна, Что ты для сердца значишь?» Смотрела вдаль, читала тихо, как бы для себя. Стояла в своём отглаженном костюмчике с кружевным воротничком, в лодочках (ножки в

порядке, а? – мальчишки перемигивались, старались не поддаваться её голосу – потом затихали, слушали, она на них даже и не смотрела и подмигивания их не видела – или делала вид – нет, не делала: вся была там, в этих завораживающих звуках). По белому кафелю плыли синие парусники и крутили синими крыльями голландские мельницы.

– Зачем, зачем им ваш Блок или вот этот... Северянин? – упрекала завуч. Учительница вежливо возражала: – Блок есть в программе.

– Но не эти же стихи, надо же выбирать. Ну пусть «Двенадцать» – никуда не денешься, музыка революции, хотя я и не понимаю, но зачем это упадничество? Совершенно незачем эти стихи, я вам по-дружески говорю. Мне ведь родителям нужно что-то отвечать. Отец Савельева звонил – полковник, между прочим, – говорил, там у Блока какой-то корнет хочет застрелиться.

– Это не у Блока, это у Козьмы Пруткова, и не корнет, а юнкер Шмидт.

– Ну какая разница. Он мне по тетрадке прочел: «И который раз в руках сжимают пистолет»? Ну куда это годится? пистолет он сжимает. У Савельева, может, дома пистолет – ну, или наган там, я не разбираюсь, – может, ему положено. Он прямо даже намекал. А мальчик в таком возрасте – отец, естественно, волнуется и не понимает, что это за суицидные строки. Гоша их в тетрадку переписал. Это ведь Блок?

– Блок, да, это Блок. Не самые удачные у него стихи. Но Гоша Савельев сам нашел, в библиотеке взял или у знакомых – я им не читала...

– Но вы это, так сказать, инспирировали...

– Что инспирировала? Любовь к русской литературе, что ли?

– Не острите и напрасно улыбаетесь: мне было не до смеха, он, должна я вам сказать, не простой полковник, он... ну, вы понимаете, идеологический фронт – его не отменили и никогда не отменяют, я должна была объяснять, вас выгораживать, что-то отвечать.

– Вот и отвечайте, посоветуйте: пусть больше читают.

– Кто? Родители?

– Ну да, и родители, и дети.

– Это я отцу Савельева, полковнику, должна советовать, чтобы он больше читал? Вы понимаете, что вы говорите? Вы очень молоды, дорогая моя, вы в те времена не жили – то есть жили, но не понимали ничего и не помните... вы как с печки свалились, извините, конечно... не цените мое отношение, а я ведь с вами из самых добрых чувств говорю, потому что понимаю... вы очень неопытны, зачем вы нарывааетесь, зачем читаете то, что можно спокойно *не читать*?

– А чтобы они знали: кроме «едем мы друзья в дальние края, станем новоселами и ты и я» есть кое-что другое. Чтобы они понимали, чем хорошие стихи отличаются от плохих, хорошая литература от подделок... Я им просто читаю. Чтобы имели представление, чтобы знали... Мне кажется, им интересно.

– Нет уж, к счастью, не вы решаете, что им надо знать, а что знать не надо... Интересно – это не значит полезно.

– Всякое знание полезно. Я так думаю...

– Нет. Нет и нет...

Это ты стояла между дверьми, зажав под мышкой классный журнал. Математик попросил отнести – сам не мог почему-то. При входе в учительскую был маленький тамбур. Открываешь одну дверь, потом закрываешь и оказываешься перед другой, стоишь в полной темноте, невидимая, слушаешь. Ну, темнота не совсем полная. Узенькая щелка позволяет видеть нашу учительницу и толстый загривок завуча Щуки. Вдруг с неожиданной легкостью Щука вскакивает и кидается к двери. Распахивает.

– Та-а-а-к... А ты что здесь делаешь?

– Вот, журнал...

Журнал вырывает, меня выталкивает.

\* \* \*

Ну, может быть, хватит? Я выключаю свою машинку...

Нет, подожди. Мне бы хотелось...

Выключаю, выключаю. Мне уже самому надоело.

Так все-таки полезно или нет?

Что именно?

Знание. Любое знание полезно?

Откуда мне знать.

Ну кто же тогда знает?

Смотря какое знание и что понимать под словом «полезно», и для кого.

Ты, как всегда, уходишь от ответа. И все-таки не выключай: мне бы хотелось услышать, о чем они говорили на прощанье.

Они молчали.

Нет, не выключай. Я пойму по глазам.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Утром опустилась на город внезапная темная зима, нескончаемые сумерки, а день так и не наступил. Как, интересно, я улечу? – тревожится Александра, отодвигает штору. За окном веют грязномолочные враждебные вихри. Вялая городская пурга гонит вдоль линий и проспектов колючую снежную мглу, упирается лбом в хмурые фасады, запутывается среди колонн, стихает ненадолго, спохватывается и снова несется вдаль, подхватывает с невских берегов серую ледяную крупу, крутит в воздухе, бросает в лица пешеходам. Темные фигуры подняли воротники, втянули головы, топчутся на остановках, отталкивая друг друга, бросаются к маршруткам, согнувшись в три погибели, пробираются внутрь грязных машинок. Буйные хохочущие подростки – физиологическое веселье – собирают жидкий, растекающийся снежок с выступов, бордюриков, подоконников, засовывают пищащим подружкам за шиворот. Оттолкнутые от маршруток и автобусов грузные хозяйственные тётки с сумками на колёсиках смотрят больными глазами, ненавидят всех, всех, всех. Николай и друг его профессор Сергей стоят поодаль, рядом какие-то приятели и среди них один старый механик из большего института (очень уважаемый: может починить всё – от «копейки» до Большого адронного коллайдера, если понадобится, – так все в нём уверены, особенно бедные владельцы этих ржавых лохматых «копеек») и один телевизионный режисёр, относительно молодой, как раз на днях с Пятого канала уволенный (за что? будто вы сами не знаете), одноклассник Сергея, и один бывший сотрудник Первого отдела, раскаявшийся и принятый в компанию за раскрытие жалких секретов этого отдела (жалкие-то они жалкие, но всё равно интересно послушать; как мы их, сволочей, однако, боялись). И еще кто-то с ними (отсюда не очень хорошо видно). Мужское забытое братство, без чинов и званий, без оглядки на образование – у них там свой счёт, построже гамбургского. Они уже приняли в институте – благо теперь вход туда совершенно свободный, без пропусков и допусков, сказал охране: это со мной, и всё – ведешь к себе в лабораторию, и там в немыслимом уюте, недоступном трезвому разуму, на железных развалинах допотопных приборов можно, наконец, спокойно поговорить или горестно помолчать. Но когда фирменный спирт и последние вялые огурчики кончаются, а хочется продолжения, они выходят на вечерние улицы. Давно уже в темном городе нет никаких рюмочных – а были, помните?

О да! Сами вы темные и несведущие. Сергей знает одно такое место, там всё как в древние чудесные времена – даже высохшие бутерброды с зеленой колбасой, даже липкие конфетки и несмываемая дактилоскопия на стопочках. Пойдем, мой друг, туда. Разумеется, непременно, но не будем спешить. Спешка отвратительна мне. И вот они вышли и стоят, наблюдают неприятную им действительность, полную скучной спешки и смешной суеты, никуда не торопятся – их семейные жизни протекают далеко, помимо, практически без их участия, трудное течение это обеспечивают раздраженные, всем недовольные ворчливые женщины, а у некоторых и нет никакой семейной жизни. Вот у Николая её нет и не предвидится – ну и хорошо, зато он уже никого не обидит и не раздражит. Он почему-то глаз не может оторвать от резвящейся молодежи, смотрит набычившись. Сергей кладет ему руку на плечо: «Несчастный друг, среди новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой...». Николай руку Сергея стряхивает: «Сам ты...» – и вдруг кидается вперед, бежит, что-то кричит. Растрепанная девочка в джинсиках, в короткой блестящей курточке, убегая от преследователя, поскользнулась, упала на асфальт, открылся голый животик, блеснул металлический шарик на пупке, ударились, больно, кричит. Пронзительный веселый визг сменился детским плачем. Неистовый ухажер неостановим, придавил коленом и лепит, и лепит ей в залитое настоящими слезами лицо снежную холодную кашу. «Ты что, урод, делаешь?» – кричит Николай и вцепляется в куртку победителя, пытается оттащить. И... исчезает, падает, сбитый с ног молодым прицельным ударом. Девчонка, напротив, как ни в чем не бывало, вскакивает, размахивает над головой противогазной сумкой, оглядывается вокруг: кого бы вдарить – никого подходящего не видит, поскольку «докучный гость» уже лежит, скрючившись, на земле, скрыт спинами её дружков, под мелькающими их ногами, и воинственная девочка бьёт по голове разинувшего рот Сергея. Первый раз в жизни у старого механика дрожат руки и губы, под кожаной курткой у него в специальных длинных карманчиках есть кой-какой тяжелый инструмент, он всегда почти при нём – хотел сыну помочь мебель собрать, но дрожит он и понимает, что никогда не сможет замахнуться на человека железякой. Бывший телевизионный режиссер мечется, дергается, кличет милицию (оторван от жизни бедный человек), делает нелепые движения, жалобно призывает прохожих вмешаться. Темные фигуры с поднятыми воротниками еще сильнее втягивают головы в плечи, отступают и отворачиваются. Тетки с сумками давно отошли на безопасное расстояние, смотрят с брезгливым любопытством.

\* \* \*

«Да, Серега вообще-то дешево отделался, ну рассекла ему девочка лоб своей сумкой – уголки были, видимо, металлические. Заклеили пластырем и отпустили домой с миром. А Николая увезли: перелом челюсти, перелом голени, вроде бы трещина в тазу, но ничего, могло быть хуже – спасибо, по почкам не били. Сказано же вам: не приближайтесь к молодежным компаниям, скользите мимо, смотрите в сторону, не привлекайте внимания. Старикам здесь не место. Нет – нарываюются, учат морали своей дурацкой – уймитесь, старые дурни...»

«Что ж это такое. То Андрей, то теперь вот Николай. Что это за избиения постоянные: молодые, здоровые бьют старых, слабых...»

«Ну, Андрей-то у нас сам молодой орел: запутался мальчишка, сегодня его избили, завтра он кому надо заплатит, и тех отметелят за милую душу...»

«Ну хорошо, но я слышу постоянно именно про насилие над слабыми. То сумку вьрут, то в парадной ограбят. Это что? Это фашизм называется...»

«Не преувеличивай, не преувеличивай. Не впадай в грех обобщения. Любите вы словами бросаться. Это всё пустяки – раньше постреливали, и ничего. Выжили, выкарабкались. Такие формы гражданской войны. Вполне себе мягкие. А вот ска-

жи: гражданская война в той или иной форме есть, все признают, а гражданского общества, говорят, еще нет. Как это так? Непонятно...»

«Ну, наверное, когда появляется гражданское общество, гражданская война заканчивается, ну, типа уже можно договариваться. А у меня вот тоже вопрос. Не такой глобальный. Почему это такие деньжищи Павел хранил у себя в сейфе, дома?»

«А где он должен был хранить?»

«Ну... где все люди. В банке. У него же счет был, ты говоришь...»

«Значит мы не люди. Мы же не принадлежим к остальному человечеству, и нас это даже не обижает. А ты, моя прелесть, вообще безнадёжна».

«Но вы же хотите...»

«Что хотим?»

«Принадлежать...»

«Ничего подобного. Кто тебе это сказал?»

«Да президент же. Не далее, как вчера».

«Телевизор смотришь?»

«Смотрю. А что?»

«Лучше не смотри».

«Почему?»

«Потому что потому, а кончается на "у"».

«Ну, с вами разговаривать невозможно».

«Так ты же совсем-совсем не догоняешь. Это я тебе должен цикл лекций по экономике прочитать. А простой ларёчник без всяких лекций все уже усвоил. Все эти новые правила. И прекрасно их использует».

Зима еще не кончилась. Всё еще лежат в городе тяжелые низкие снежные небеса. Особый пронзительный и мокрый холод, неведомый другим городам и странам, проникает в душу, и не согревает её даже глоток хорошей водки. Александра и Юрий Сергеевич сидят в машине, перед ними бесцветная пелена залива, зимний туман лежит на лобовом стекле. Иногда гудят в тумане призрачные корабли, скрежещет вдали усталый металл, слышны команды – что-то разгружают. Тревожные желтые огни не пробивают белые сумерки, слышен разбойничий свист, деловой рабочий мат, прошли мимо два расплывчатых силуэта, постучали зачем-то костяшками пальцев в окно (Александра вздрогнула), растворились в тумане.

«Давай, поехали, пора уже», – говорит Александра (спазм страха; она чувствует почему-то страх). Её уже не смущает, что Юрка прилично выпил – значит, здесь так можно, он, видимо, правильными правилами руководствуется. Он и в былые годы говорил: алкоголь мне только помогает сосредоточиться. И не боится, что остановят. Ничего не боится. Такие здесь правила.

«Испугалась, да? Эти хмыри уверены, что сюда приезжают трахаться. Не бойся...»

Юрий Сергеевич почти падает ей головой на колени, тянется к бардачку и достаёт...

«Боже! Что такое? Убери сейчас же. Вы тут все ненормальные...»

«Да это же игрушка. Ой, стой, не трогай предохранитель! Ладно уж, поехали».

Юрка вздыхает, закручивает фляжечку. Двигатель работает бесшумно. Плавно и медленно разворачивается машина. В желтом конусе света танцует снежная мошкра, торопливо отскакивают в темноту какие-то призраки. Долго едут молча.

«До чего же Николай невезучий человек, – произносит Юрка серьёзно и грустно. – Прекрасный, умный, добрый – и невезучий. Я помню, всегда боялся с ним ездить в командировки. Обязательно что-нибудь случилось. То у него кипятильник сгорит и нас начинают из гостиницы выселять, то самолет на пять часов задержат

или вообще, отменяют, то во время банкета в Ужгороде (где у нас там банкет был, не помнишь? вот забыл, всё забывается, какой-то замо́к был, очень красивый...) прямо в руках хрустальный фужер взорвался – видали вы такое, чтобы рюмки в руках взрывались? А эта жуткая история с сыном и квартирой – про Лиду уже и не говорю. Страшно удивился, когда он после первой Кореи квартиру все-таки купил, – думал, обязательно его нагреют. А теперь вот и Корея накрылась – заменят его каким-нибудь новеньким, и всё, больше не позовут. А вот еще: он ведь чуть не сгорел, банально заснул перед телевизором с сигаретой – хорошо, лето было, дым из окна повалил... заметили ночные гуляки, хорошо, попались неравнодушные».

«А Тина, что с Тиной? Погуляла и вернется?» – спрашивает Александра.

«Ничуть не бывало, вселилась и живет там, в его квартирке, – он же в больнице, она, бедняжка, в две больницы теперь ходит с бульонами и пирожками – к своему оболтусу и к Николаю, а есть-то ему, сама понимаешь, пирожки не рекомендуется. Ну не мог я их совместить. И перевозить его нельзя. Без меня всё решилось: его же скорая забирала, в дежурную, был у него, лежит правильно растянутый, такой страдалец. О! Жаль, что ты не увидишь. Может, поедем, устройю вам свиданку. На полчаса. А?»

«Не начинай всё сначала. Меня уже ждут. Последний же вечер. Не могу я улететь, не повидав отца моей дочери. Она мне этого не простит. У вас всё время что-то происходит...»

«Да, у нас не скучно».

«...И все планы рушатся. Я там Николаю написала, в пакете на Лидочкиных письмах лежит мой конверт – так вот и передай, пожалуйста, не разворачивай».

«Там и бутылочка плоская прощупывается...»

«Ну... я прошу тебя, он любит этот коньяк, пожалуйста, я для него привезла, ну не повредит ему такая капля, маленькая бутылочка, просто знак...»

«На что ты меня толкаешь? Бутылочку отдам, но только после выписки, а письма... ладно, пусть слезами обливается. Зря ты не хочешь навестить несчастного друга, еще и с Валюшкой могла бы повидаться – она в это время обычно приходит, кормит Колюню с ложечки».

«Да мы уж видались вроде».

«На поминках, что ли? Это не считается, это был форсмажор, теперь поспокойнее: Пашка все-таки заплатил долги своего беспутного сыночка, скоро будем выпускать оболтуса, но Валюшка все равно с ним не желает общаться, кто бы мог подумать – такое упорство. Вкусила свободы девчонка. Так, мы, кажется, попались, видишь, какие городские тромбы. Так-так-так, постоим... Как жить будешь дальше?»

«Что ты хочешь сказать?»

«А то и хочу сказать. Давай возвращайся, на старости лет будешь с близкими людьми, чего там делать-то, в чужих краях».

«Не надоело тебе?»

«Я вот думаю, что угасание гормональной активности имеет для женщин определенные прелести».

«Ну давай, жду очередной гадости...»

«Да я абсолютно серьёзно. Свобода, бля, свобода... неужели непонятно. Как Валюшка его подкосила. А? »

«А для мужчин? Как у них с этими прелестями гормонального затухания?»

«Ну, у мужчин немного по-другому... Но тоже... да! иногда определенное освобождение наблюдается. Ну Валюшка все-таки... выбрала момент? Да? Никакой ответственности. У неё базовые ценности изменились, видите ли... Переполнение чаши терпения произошло. Объёмная, однако, была у неё эта чаша».

«Хочешь посплетничать...»

«А что? я не человек?»

«За тобой это раньше не водилось».

«Водилось, водилось. Просто я умело скрывал. А теперь я стал естественным человеком. Незачем притворяться. Обсуждение ближних... Это ли не удовольствие? Полчаса освежающей сплетни. Не будем лицемерить. Да и ближним было бы обидно, если бы мы не обращали на них внимания... И еще пожилые мачо, жаждущие молодой плоти, вызывают у меня рвотный рефлекс...»

«Вот что это такое ты сейчас сказал? Ты на кого намекаешь?»

«Ни на кого. Просто наблюдаю окружающие нравы. Да успокойся ты. Я вовсе не про Павла – он, должен заметить, молодую плоть уже не потянет, опасно ему это, он предупрежден – у меня тут другие клиенты намечаются, Веньку видела на поминках?».

«А врачебная тайна?»

«Хочу напомнить, что клятву Гиппократ я не давал, никаких тайн соблюдать не обязан – просто оказался как-то втянут, в силу своих связей. И несмотря на омерзение, должен помогать. Когда мужик погибает на бабе, она почему-то именно мне звонит – нашла телефон в его мобильнике, между прочим, – его со-трудница, молодая, – относительно, конечно, – молодые в науку не идут, то есть их выучивают, а потом они исчезают и всплывают в самых неожиданных местах, вплоть до Думы – ну, тебе уже рассказывали, но Венька их грантами соблазняет, манит обещаниями заграничных стажировок. Представляешь, если бы он там у неё помер – какие гранты, какие стажировки? А так – Шурочка транспорт организова-вала, откачали, умыли, обтерли, к нам в отдельную палату уложили – замяли, одним словом; жена покудахтала немного, так ничего и не поняла...»

«Фу... Ну зачем мне эти скелеты в чужих шкафах?»

«А кстати, там, в клятве этой, есть какое-то положение о тайне?»

«Не знаю... »

«Вот и я не знаю. А тайны ведь томят, скелеты из шкафов взывают... Тут ко мне обращались разные персоны: просят помочь с генетическим анализом. Несколько лет назад британцы уже пережили такую моду. Я всех предостерегаю. Двадцать процентов британских любопытствующих мужчин были потрясены и расстроены. Насколько мудрее оказались древние иудеи...»

\* \* \*

– Так я за тобой заеду завтра. Когда у тебя рейс?

– Имей в виду, Павел тоже собирался.

– Плевать я хотел на Пашку. Я должен тебя проводить. Нет, какой гад. Даже прощальные слова любви я должен произносить в его присутствии...

– Ты мне их напиши.

– Я уже писал.

– А я помню. На кленовом высохшем листочке. «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать».

А ты его выбросила.

Нет, я его хранила, но потом он окончательно растрескался и рассыпался в прах.

Ночь перед вылетом была ужасна. Беспорядочные видения, бессонный бред, выпадающие из шкафов хрупкие скелеты, сухость во рту, боль в затылке, горячий песок под веками, расплывающиеся лица и голоса. Лицо Тины, почти молодое, во всяком случае, без возраста, пышные волосы пронизаны золотым светом; показывается на стуле, курит сигаретку (никогда не курила); Юрий Сергеич в своем теперешнем обличье, но с трубкой в зубах – когда-то делал вид, что курит трубку, помнится, искали ему в подарок какие-то вересковые трубки – собирал коллекцию,

сидит на изогнутой спинке садовой скамейки – так сидят подростки с пивом в Соловьевском садике. Тина в комнате, Юрка в скверике – беседуют. Он насмешливый. Как всегда. «Ты ему отлично отомстила». – «И за тебя тоже» (злой голос, да! мстительный). – «За меня? Не понял. Что это значит?» – «Сам знаешь. Завидовал ему: родители, квартирка, дача в Комарово, твою любимую Саньку всю жизнь держал на крючке». – «А? Дура ты, дура. Он мой друг». – «Карательные органы сказали: ну конечно». – «А чё ж ты его совсем не раздавила? Сказала бы раньше – сейчас-то неактуально, что Настя не его дочь, а отчима твоего... А? Шутка». – «Сволочь!» Неактуальные скелеты подпрыгивают и со смехом рассыпаются на звонкие косточки. Кафельный пол клиники. Косточки и позвонки еще долго подсакивают по нему, как живые. Придушенно пищит будильник.

Юрий Сергеич безукоризненно точен, все рассчитано до минуты: нужно проскочить Благовещенский мост после первого разведения. Ночной пустынный город прекрасен. Воздух временно чист. Мосты и дворцы окантованы мерцающими огнями.

«Павел прямо в аэропорт приедет – не знаю, правда, зачем. Не хватало еще, чтобы тебя на нескольких машинах провожали».

Домчались за двадцат пять минут.

Александра прошла зеленым коридором, сдала багаж, остановилась перед паспортным контролем. Последний раз оглянулась. Они всё еще стояли за мутными стеклами. Молчали. Синхронно подняли руки. Плавно покачали ими в воздухе.